

О СОЗЕРЦАНИИ

...Просто надо скорей умереть
чтоб не мешать кино им смотреть...
Aberamento



Вот всего несколько часов назад, снится нам «подростковый сон». Школотартары, вся жизнь впереди, пубертатные существа резвятся, банальности с преисполненным пафоса тоном произносят, рисуют на доске мелом чёрно-магическую формулу “ $X^1 + Y^1 =$ коитальный глагол²”, книжки глупые читают, вроде романа Чернышевского “Что делать?”, и, конечно же, совокупляются. И режут кого-то в потёмках подвального склада музыкальных инструментов, быть может, нас тоже. Чуть «позже» мы замечаем, что, несмотря на отчётливые контуры конечностей – типичных, пятипалых, и корпусов, с «выделением» плеч и бёдер, у существ под-растающих *нет лиц*. Точнее, типичный овал есть, без надбровных дуг, глаз, носа и скул; но с грубо прорезанным в нём ртом, то распарывающимся до ушей, – тоже не видимых, в дебиловатой улыбке; то сужающимся в тонкий и короткий шов «смущённого молчания». И кожа у них эластичная, вязкая, словно резина.

Насколько страшно находиться среди существ с противоестественно

растягивающимся «оральным отверстием», к слову – беззубым, будто старческим. Не знаем ~ не знаем, спим дальше. И сразу же узнаём, что на самом-то деле мы просто смотрим в монитор своего ноутбука, где и видим всех этих антропоморфных тварей. Неожиданно картинка сменяется на заставку “Завершение работы Windows”, экран потухает. Во сне же думаем – «что за ..., забыли продлить время перед ребутом для завершения установки обновлений?». Тянем руку, не вставая с дивана, к кнопке «питания», чтобы включить, и досмотреть «сцену вручения аттестатов» - а индикатор не загорается.

Надо вставать, смотреть, не спалил ли адаптер, в худшем случае изрядно подсуетится, чтобы восстановить работоспособность системы. Вот на этом месте мы и проснулись...

Итого: никаким ювенильным Silent Hill'ом (впрочем, мы в сё не играли, и фильм смотрели, с трудом подавляя зевоту) уже не напугать, жертвовать частями или целым не впервой (в процессе чего бывает очень больно), а какой-то банальных технический трабл выводит из себя (минуя психофизическую унификацию «я – существо маленькое, у меня восемнадцать рёбер и тридцать два зуба, зато...»). А всё потому, что *для смертного существа инспиративный аспект всегда опосредствуется*. Благородные существа не вступают в такие «уничижительные» связи, даже в модусе господства над теми, чья генеалогия не позволяет примкнуть к их иерархической автаркической [в смысле – внеположной этому миру] Цепи.

Почему именно Цепи? В нашем углу ковчеге, материальном мире, мы видим лишь то, что облечено Кольчугой Давида; сквозь звенья на манящий просвет виднеется инобытие,

но ближе всего нашему восприятию *определённый* и *определяющий* ряд колец. Увидеть всю кольчугу, разумеется, невозможно, - «глаз не хватит»; но главное в том, что – ту череду звеньев [Цепь] *на просвет* можно созерцать сколько угодно. Не надоеет, - Совершенно, Незапятнанно, Достаточно, Всеобъемлюще, Всеописующе, Всегда Приятно, Всегда Интересно, Исключительно.

Вопрос в повестке Истинной Ночи, таким образом, состоит не в том, как «учредить» своё Дело в иномірном порядке, - как не тяготится «полезной» деятельностью, а также её незакавыченной бесполезностью; как избавиться *раз и навсегда* от тягостных раздумий = разочарований, на основании – «вот, я что-то пропустил, а вдруг фатально пропустил, такого больше не станет, такого не бывает». И в самом деле – сумрачно-дивное видение всё нейдёт, и уж кажется, что длительное *присутствие отсутствия* – невосполнимая потеря, органическая недостаточность. И в самом деле – бесполезно спать, и бесполезно бдеть в ночи; чем дольше ждёшь, тем сильнее неприятные ощущения, едва ли не на физическом уровне, - от того, что *не подсмотрел*, да ещё и не понял, и не законспектировал своё восхищение (суть которого – ритуальная, таким образом выражается Пиетет Прæдестинации).

Убеждают там нас, что мы превозносим Вечность лишь потому, что нас в течении уже трех, не меньше, столетий «учили» презирать время. А мы возражаем, - мы не ценим ни своё, ни чужое время, в силу следования (а не по-следования) Благородным Существом, которые, не щадя нас, позволяя же и подглядывать за ними, право имеют отобрать у нас нечто, в понимании современных говноедов, драгоценное. Что может быть в ситуации современности ценнее времени?

Да ничего. Демотивация в том и имеет смысл – прекративши ждать, терпеть и надеяться, перестаёшь и назойливо стучаться в двери, которые и не обещают отворяться пред стучащимся. В данной перспективе испуганное восклицание рассудка «так вся жизнь пройдёт!» должно встречать контртезис «...и ты проходи». Тем более, что те, кто **не** обращает на тебя (нас, его / её и т.д.) внимания, безразлично отнесутся к тому, сколько т.н. времени ты (мы, он / она, etc) тратишь на [бес]полезную деятельность, инициативность и методичность.

Томительное ожидание, к слову, только в Новое Время стало присущим в равной степени и мужчинам, и женщинам. В самые «галантные» времена позднего Средневековья экспрессивно проявляемые переживания психофизических взаимоотношений между мужчиной и женщиной – следствие состоявшейся связи. Підманула ~ не прийшла, как и [не]согласная «потерпеть» девушка, это Модерн; в традиционном, или ближе[на]стоящем к нему обществе отказ – повод уйти рубиться с сарацинами и / или еретиками (для сильных не по этой части – в монастырь), в женской прерогативе – выйти замуж и родить от того, кто уже «отмахался» или *готовился к тому*.

В контексте вспомнилось и русское – из оперы «Евгений Онегин», безотносительное общего содержания поэмы и либретто:

Так, видно, Бог велел! Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне *тринадцать лет*...
Недели две ходила сваха
К моей родне и, наконец,
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
И с пеньем в церковь повели,
И вот ввели в семью чужую...

Когда мы говорим, что современный человек стал неспособен не только соблазниться, но и мало-мальски согрешить, подразумевается, - рассудочность и самосознание не позволяют ему испытать вожделение, *желание на пределе своих способностей*. В том числе способностей восприятия, восприимчивости и внимательности. Скажем, на примере вышеприведённого фрагмента либретто, его бросит в нервическую дрожь одна мысль о реальном браке (а не как в аниме – с фетишем «фартучек на голое тело» и т.п.), - в столь раннем возрасте, при необходимости работы обоих супругов, с детьми и многочисленной роднёй. В силу этой поляризации, апелляция к тщете и но бесполезности витального аспекта становится психической защитой, «вытеснением». Практически тем же самым, как обратное дистанцирование от инобытийственного порядка в модерне. В новостном портале “**Fushigi Nippon**” недавно сообщали, что Япония опередила все страны по старению населения; оттого даже далеко не старые родители говорят рано «выскочившим» замуж или женившимся детям – «хотим внуков». И удивляются тому, что детям приходится об этом говорить, как будто они сами не сообщают.

Естественность этого желания гораздо *сильнее* концептуального инстинкта жизни, который «изобрели» психоаналитики специально для населения метрополии. Хотя бы потому, что любой инстинкт является про-изводным от парадоксальной *противоестественной природы* человека, о чём повествовалось в этом и предыдущих письмах; в метрополии, в условиях т.н. городской культуры он многократно опосредствуется. И *посредниками становятся желания*, цепляющиеся за косвенными намёки, инфлюации, сигнификационные наборы и прочая, надеждой питаемые, что это импульсивно-порывистое движение в конечном итоге приведёт к тем же результатам, *что были всегда*.

Экстраполируя, - к деланию и недеянию, благим, а не «великим», ис-ходящим от [противо]естества следует по-нашему относиться так же, как архаики испокон веков постигали «крохотные радости быта». Не существенно, сколько времени это займёт, сколько времени же покажется *потраченным* напрасно - гораздо важнее не тяготится тем, что смертному, ещё не ставшему ЗПК, адептом национал-суккубизма или апологетом Махачандайогини [*Я, Кродхантака, трансцендентный. Кродхантака обоих горизонтов. Раньше я был человеком*] позволено заглядывать лишь в узкую щель или замочную скважину, будучи при дверях. И тогда отключение посредника (в случае нашего сна – монитора), краткое или длительное, в результате от-влечения и ультимативной демотивации, не будет ввергать в скорбное смятение.

Вот.

О ПОНИМАНИИ

*Кстати, в одно ухо влетает – из другого вылетает”
совсем не то, что вы думаете.*

Пата, конечно.

I

Привет, например.

В настоящее время нами замечено, что многие невзлюбили слово “информация” на том основании, что оно утратило некий первоначальный смысл, трансформировавшись в нечто подобное “сведения”, чтобы не сказать сильнее - “слухи, сплетни”. Практически же, этому регрессу значений мы обязаны первостепенной важности “индексации” всех воспринимаемых нами «семейств» знания и жанров искусств: лишь то, что проникает на «молекулярный уровень» структуры мышления, - а это целое событие, и событие это именуется “чудом”, - то и есть ин-формирующее, не о-формляющее, а наполняющее форму.

Современный человек стал невосприимчив к смыслу не только в силу злонамеренной порчи эпистемы; просто оттого, что элементарная диалектическая цепочка “*подумать обо всём самому не получится*” => “*всегда найдётся добрая / злая душа, которая всё объяснит и подскажет*” определяет дальнейшие взаимоотношения существа с вещным миром.

А именно, мир как бы «произвольно» насыщается смыслами, он становится немислимо сложным и разнообразным, плотным и непроницаемым. Это ноктюрн, утративший исходную, ночную атрибуцию; и это действительно фундаментальная трансформация, в процессе которой смялась дефиниция «форма», «информация» и сама сфера «ночного».



В кратком очерке о литературе мы уже упоминали, «что снится блуждающим биороботам», дополним эти суждения следующим – на мониторе мы видим контекстное меню с множеством опций и кнопок. Присматриваемся к нему, ищем что-то и зачем-то, и обнаруживаем, что большая часть директорий и панелей озаглавлены идентично. И, вопреки тому, что они означают различные функции, «ведут», казалось бы, в диаметрально противоположные стороны, они дают «одинаковый» эффект. Или, точнее, никакого [психо]соматического эффекта – напр., если основополагающим атрибутом ноктюрнального порядка считать «страшное и замогильно ужасное», сфера ноктюрна обретёт стабильный центр. Это исламизм и терроризм, осуществляемый служителями

господа единого Аллаха; в исламе и адате, как разновидности его, иерархическая модель, и в области сигнификаций, и в психологическом аспекте (скажем, в отношениях мужчины и женщины) совершенно проницаема и прозрачна. Не напрасно один из захватчиков Александрии, халиф Омар ибн Хаттаб [да будет доволен им Аллах] приказывая полководцу Амру сжечь библиотеку, по преданию сказал - *"Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь"*.

Этими словами персонификация чистейшего, пречистого Диурна говорит – «ну вот ещё, разбираться мне в этих папирусах, испещренных странными подозрительными знаками, наверняка данных Иблисом, дабы ввести правоверных в греховные заблуждения». Какой там ещё ноктюРН?

И с обратной стороны – вовсе не забавное слово «мракобесие». Заметь, что и Князь Мира[*], и Аше почти не употребляют этого слова, прежде всего потому, что эта дефиниция (как и “сатанизм”, кстати) изрядно «поношена» теми, кто воспринимает внешние миры (не один только наш, и физический, и «ментальный») не с большим пиететом, чем халиф Омар, - а в эту категорию попадают различного вероисповедания, политической и культурной идентичности, словом – мирозерцания, существа. Атеисты и православные, буддисты и анимисты, либералы и консерваторы, и далее – повсеместно: педерасты и натуралы, мужчины и женщины, «играющие» на бирже Fogex и играющие в “Time Zero” какой-нибудь, «все кто в Живом журнале», «все, кто ВКонтакте» [будут наказаны™!] и тому подобное.

Таким образом «стихийный» (на самом деле – искусственный, «импортный») ноктюРН пробует доказать, что не пальцем делан тож, у него есть своё “иное” – инкорпорированное настолько прочно, что кажется, по меньшей мере, врождённым, и чуждой «ясности», каковая есть и у современных исламистов, ему не надобно.

Прим. [*] - [В гнездилищах порока, которыми являются современные крупные города, тенденция веселости наиболее интенсивна и ее демонстрируемое отсутствие становится признаком провинциальности и своеобразного мракобесия \(обскурантизма, противопоставляемого идущей в ногу со временем культуре.](#)

В контексте регресса и дальнейшего ухудшения ситуации представляется, что модернистский вывод “в мире нет ничего чудесного”, или, если угодно, “бог больше не совершает чудес” (постулат, ставший со времён Баруха Спинозы девизом) не так уж и дурен. Хуже, гораздо хуже, беспрестанное «дежурное» восхищение, раздражение, злоба и обожание. Непристойный жест (указание пальцем) и “О, чудо!”, - что уже на израсходованную “канон” тактику «будем, как дети» списать уже не удастся.

Примечательно, что т.н. «детское» любопытство чаще всего бывает избирательным, и требовательным, по отношению к «взрослому»; невосприимчивого, - что не означает, - умственно отсталого, ребёнка невероятно трудно чем-либо увлечь, до тех пор, пока он не «выскребет» нечто действительно ощущаемое и *понимаемое* им как необходимое. С раннего детства, точнее, с тех пор, как мы начали запоминать воспринимаемое во внешнем мире, нас интересовали только беспозвоночные, моллюски и насекомые, in пресе – осьминоги, кальмары, каракатицы, медузы и... пауки.

Хотя ребёнок многое понимает, большее, чем пубертатное существо, подросток, объяснить он свои симпатии и антипатии не может: что бы там ни сказали авторитарные модернистские источники, понимание фиксирует во вне-дискурсивной области репрезентации. Потому что сигнификационный набор очень просто навязать, как и дискурсивную стратегию, - а понимание, “принятие” практически невозможно. Пример тому, - девиз “нам внятно всё” из общеизвестного стихотворения Александра Блока не

«понемногу», а «помногу» обрастает импровизацией на тему “...но мы ничего не понимаем”. В том числе разнообразными модификациями тезиса «понимать и не нужно», как будто отказ от герменевтического аспекта может избавить дивида от подлых современных дихотомий. Аннулировать «предложение, от которого нельзя отказаться».

А отказываться не от чего, ощущение преходящего или вездесущего Чуда остаётся, несмотря на массивное «расколдовывание». Присмотрись внимательнее к **Touhou Project**. Это полноценный, автаркический ноктюрн, безотносительно атрибуции персонажей, их парадоксальной дуальности и про-из-вольных трансформаций.

Просто потому, что этот примитивный шутер-аркада-квест почти непредсказуемым образом исторг целую «вселенную» сеттинга и породил фэндомную зону, ареал «фагготов», о чём многие, если не все, подобные и не только, игры и мечтать не смели. Более того, эта примитивная «тоха» произвела на свет собственную уникальную мифологию. И, отвечая на вопрос, - почему об этой самой «Тохе» хочется думать, она мотивирует то самое волшебное желание истолковать, по-мыслить её, подобно алхимическому трактату: да потому что начальное, керигматическое, поверхностное истолкование ей уже сообщено. В настоящее время Керигма просто органически / физически опережает Структуру; это опережение надо принять только затем, чтобы его превзойти и впредь превозмогать.

А для этого и нужно понимание. Необходимость понимания всегда про-израстает из гипотетической / гипостазируемой недостаточности интерпретации, в силу которой всегда же и возникает какое-либо желание. В процессе понимания и должен образоваться умозрительный круг манифестации, о котором мы упоминали в письме о Магии: это опциональное применение Агхорического Императива, предписывающего рассматривать причины и следствия замкнутыми, и, вместе с тем, прогрессирующими из единого «корня», субординированными первоначально, а не косным гипотезам или теориям о бессознательном влечении.

II.

Если травматика [драматики] при встрече с креационизмом не избежать, её, по крайней мере, можно и нужно компенсировать.

Мы.

С некоторых пор философию модерна стали винить в упразднении чуда, как если бы модерн (где ещё может быть «философия») мог что-то отменить одной только критической ревизией.

В настоящее время мы всё чаще убеждаемся в том, что рационализм позволил нам удивляться, пере-живать чудесное, - всерьёз, так, что холодок от поясницы к затылку и обратно, отвисает челюсть и производятся аффективные жесты. Потому что модерн – это броская, колоритная, экспрессивно выраженная *очевидность*. И чудо как раз противопоставляется этой *чудовищности*, воспринимаемой в меру давления на психику реципиента. Только сейчас нам представляется дурманящей пестротой современная метрополия, в том числе та, что с настырной частотой проматывается панорамой на экранах, в фантастических скай-фай фильмах; тем больше заинтригует и очарует буйная зелень «силиконовых джунглей». И вполне осознанно, телеологически мотивированно захочется «на волю, к природе».

Утверждают тут некоторые с апломбом, что архаик из двух вариаций «движущихся картинок» непременно избрал бы вторую, в «натуральных тонах», с раскидистыми платанами и струящимся меж стволов вековечных древ туманом.

“Здравствуйте, я – Юкст. Как вас зовут – меня не интересует. Кстати, советую забыть моё имя”.

Нам представляется, что и в отношении монструозной архитектуры, и в области симулякра девственного тропического леса истинный человек традиции остался бы «дальтони́ком». Равнодушно наблюдающим или ежеминутно «ахающим» от изумления, трепещущим от ужаса или невозмутимо безмолвным, несущественно: архаик или может представить себе нечто более существенное, чем «инъекция образов» в коллективное бессознательное (этнически артикулированное) или – ничего ему представлять нет надобности, он и при увлечённом мнимо просмотре, слушании видит и слышит нечто иное.

В последней серии трилогии “**Bis ans Ende der Welt**” Вим Вендерс вполне достоверно изобразил, почему современный европеец не может *остаться* в режиме «dream’ time», отворенного, *явственно* бессознательного: сны для него – будто наркотик, получая возможность грезить наяву, человек любого посредника, будь то несовершенная экспериментальная электроника или психотропные вещества, воспринимает как *подлинное*. Между тем, эта фикция слишком уязвимая, этот поверхностный пласт восприятия легко разоблачить. Героиня восклицает «О, моё сердце умерло!», - когда батарейки для “dreamonitor” банально сели; что означает – ничего *естественного* в человеческом *естестве* не осталось, одни механизмы, нуждающиеся в компенсаторах и адаптерах. Для одних, и очень многих, это катастрофа, и, вместо того, чтобы засесть за верстак, и монтировать «искусственное сердце», просто для того, чтобы не умереть (тем самым не нуждаясь в электрофорезе, «**чудо**творной» гальванизации, и не паразитировать на «поставщиках») ищут чуда где-нибудь вовне. Но мы знаем, что модернисту всегда будет *хорошо там, где его нет*; в том числе и потому, что свои поиски чуда и понимания он начинает с той же непристойной скуки, отчего «запивает», принимает наркотики, включительно «легальные», «спускается на социальное дно». Некоторые считают, что это просто чудо, что из подобной клоаки ему удаётся выкарабкаться, - в целеустремлённом бегстве от себя, самокритике = рациональной ревизии. Именно за этим он усердствует в деле ретроспекции, - в свою очередь, тоже являющейся «критикой».

Критикой не-отвлечённых начал, осуществившихся в нём самом, не просто утраченных им, а модифицированных. Деградационное тендирование редко где и когда возникает в результате *одного только* Забвения Истин; это закономерный процесс и результат, - всеобъемлющий, и тех, кто *знает*, и тех, кто не ведает. В некоторый момент мы осознаём, что все эти крылатые выражения, афоризмы и метафоры (зачастую – гиперболы), - враг снаружи, враг внутри, враг повсюду, враг – мы сами, становятся единственным стимулом к постижению и пониманию. Постулат – “знай своего врага” трансформируется в синоним «познай самого себя».

В итоге категория иного ~ враждебного вьётся кружевами под «панцирем» самопознания; человек-познающий попросту копит эту враждебность, наращивает, подобно мускулатуре. Далее, по идее, «бактерии» злобы и раздражения должны вырваться из узницы мышления и бессознательного, но не тут-то было. Чаще всего происходит нечто сродни биографиям первых рационалистов в Европе, прежде всего Спинозы и Декарта: напр., Картезий прожил пятьдесят четыре года, из которых, по меньшей мере, два десятилетия подвергался «гонениям». В настоящее время, когда орден иезуитов стал «тщедушным» и беспомощным, на Декарта более чем легко свалить ответственность, и за регрессию христианства помимо прочего. Но вот в чём проблема, - на закате жизни Декарт был обыкновенным затравленным, страдающим пневмонией (ставшей официальной причиной смерти, хотя есть конспирологическая версия об его

отравлении) стариком. При всей своей прозорливости и стратегической грамотности, с непреходящей тревогой – чувствованием исходящей угрозы парадигмального масштаба, иезуиты, старавшиеся всячески изжить Декарта, не могли понять, как этот невзрачный философ оказался *Победителем*. Трупный яд, вырвавшийся из могилы; Дьявол, изгнанный обратно в Преисподнюю квалифицированным экзорцистом, и вернувшийся, дабы отомстить в стократ; “кто подобен зверю сему?” [Откр. XIII.4], - как выяснилось тремя столетиями позже – никто.

Вывод # раз. Помыслив Картезия как персонажа традиции, даже как Онрио, мы поймём, какова со-временная ситуация *ratio* и Ума. Из вышесказанного следует, помимо прочего: теперь мы мыслим рациональность, как феномен и ноумен, в контексте наставлений Александра Гельевича о постмодерне, - недואльно. Мы и так слишком долго «презирали» рационализм, тот, что диаметрально противоположен Уму. Нет, - сообщаем теперь мы, - недואльно мыслимое *ratio* – единственная умозрительная конструкция и метод *экономи*, который можно оставить при себе, даже если мы им пользуемся крайне редко и только в локализованном этнокультурном диспозитиве, том, что принято дефинировать «обыденностью».

Ещё – лингвистический аспект:

Любой номинативный язык, рано или поздно ставящий перед человеком проблему фундаментальной дистинкции имени и феномена, означающего и означаемого, суть рациональность. «Нотариально заверяющий» права и свободы Иного, чего даже мышление [*cogito*] порой себе позволять не смеет, - что и случается при некомпетентном прочтении, скажем, Хайдеггера, - словосочетания понятны, переведённые термины *ясны*, а *cogito* не спешит признавать это нагромождение слов интеллигибельным.

Тем не менее, рациональность по существу своему – как двойственное, стало быть, делимое (*ab aeternitas*) категория количественного порядка. И этого следует, что, если *ratio*, а вместе с ним и логоцентризм, чего-либо ещё не переваривает, значит, ему не хватает «зубов, ширины пищевода, объёма желудка и кишечника». Континуальность: если вы / он / она / они что-то не могут сожрать, намеренно не пересолив и не поливая обильно «соусом» (контекстом) – куда ж им в примордиальную традицию, если уже на элементарном ~ молекулярном уровне сознание, вполне в виктимном, страдательном (по аналогии с глагольной формой) модусе, признаёт себя беспомощным, ветхим, стенающим и убогим.

Существо с «открытым», «отверстым» *id*, коллективным и / или индивидуальным бессознательным, как раз и подвержено изъятию дисциплинарным диспозитивом в пользу и с целью *дивидуации*, а также архонтическому террору со стороны имматериального, инфракорпорального порядков. Говорят там нам: *познайте самих себя*. Тем самым, дескать, вы сможете себя же контролировать, принуждать и подавлять с наибольшей эффективностью, править самоё собой. С какой стати говорящие, и, что характерно, действительно так полагающие, подразумевают любой субъект, обладающий самостью, *принадлежащим себе*, - болезненный вопрос.

И того и следует “**вывод # два**”: при уязвимости современного человека имеет смысл девиз «вооружайтесь!», не амбивалентный «познавайте!», вопреки тому, что знание-де, сила. Это помысел [пронойя] гносеологии и эпистемологии недואльными; есть гносеократия, власть знания (а не [со]знание власти и властности) и есть соподчинённые ей градации / дестинации, напр., педалируемый социальным фурором «логос» консерватизма.

Как мы постулировали ранее, чтобы не стать съеденным в данной неблагоприятной ситуации самому, надо выработать архонтические навыки и качества, обрасти новым, более прочным «панцирем», бронёй, сквозь которую не может проникнуть мягкотелый, но

вкрадчивый~взедливый логоцентризм, самовозрастающий и авторепродуцирующийся ради-себя-самого, в-себе-и-для-себя. Декарт не был бы «чудовищем» в представлении традиционалистов, в том числе и Дугина, если бы его “медитации” не содержали этого непомерно распухшего “я”, логоцентрической самости. Но это лютое ~ алчное его воспитали и продолжают подкармливать те, кому нет никакого дела до ratio et cerebrum [в переводе с латинского – не только сердце и головной мозг, но и, собственно, “ум”].

Ведь первые в Европе рационалисты и механицисты, в принципе, - беспомощные, беззубые, лишь в исторической перспективе модерна обретающие «зловещие» черты, деструктивный характер – неделимая из-начально *индивидуальность* всё равно свёртывается и расщепляется в дивидуации. Нам известно, что со-временная история Европы была, по существу, историей дисциплинарного диспозитива, иными словами, историей архонтов, уже не полагавшихся на иррациональную систему языка и символов. Рациональный язык, не просто «десакрализованный», изначально бывший полярной противоположностью сакрального, обоюдно и положительного, и отрицательного, менее всего сопряжён с «конвенциональным дискурсом». В финале модерна европейского, рациональный дискурс стал одним из «классов» КПП, ставящим, постановляющим жёсткие условия с одной стороны, со стороны субъекта. Более того, они принуждают всех, вступающих во взаимоотношения с субъектом, выполнять эти условия, безотносительно реконфигуративной ассимиляции. И что же, - в данный момент никакая критическая ретроспекция и ревизия не может одолеть экономию языка и многочисленные её производные.

Напр., - *“Понятие ризомы выражает фундаментальную для постмодерна установку на презумпцию разрушения традиционных представлений о структуре как семантически централизованной и стабильно определенной. Ризома является автохтонной и неконсистентной [дестратифицированной] структурой, являясь средством обозначения радикальной альтернативы замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую осевую ориентацию, и репрезентуя собой теории нелинейных динамик”*. Самое забавное в этой риторической [дискурсивной] ситуации, - описывая феномен постмодерна, автор [волью цитируется статья М.А. Можейко из **“Постмодернизм: Энциклопедия”** / Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. — 1040 с. — (Мир энциклопедий)] становится на критическую позицию со-временности. «Сама» Ризома никакого выбора, принудительного ли, или свободного, не оставляет, - это не “предел-установка” [attitude-limite].

В **“Археологии знания”** Фуколт постулирует следующее: **“Вторая ключевая методологическая установка работы - избегание *модернизирующей ретроспекции*, что требует рассмотрения выявленных прошлых состояний культуры и знания при максимально возможном приближении к их аутентичному своеобразие и специфике”**. То же происходит и с *субъектом*, - слишком просто, и потому – соблазнительно, почти как в порядке дискурсивной обыденности, состоящей из трюизмов и междометий, «убрать с глаз долой ~ из сердца вон» субъект. И на том же основании, что и homo consuetus решительно отвергает «не согласованный» с его системой дискурсивных детерминант [ил]локутивный акт; мы отвечаем ему взаимной неприязнью и... проигрываем.

Предварительный вывод: субъекту самому от себя некуда сбегать. Точнее, - не нужно от себя отказываться (см. программный текст о самоотречении. Заново) до некоторых пор, когда дивидуация действительно, - а не в декорациях очередного чуда, сомкнёт манипуляторы на шее, и удавит «насовсем».

Ступившему на эту зыбкую почву, - дезонтологизированный и выпотрошенный ноктюрн, ему должны открыться совсем иные перспективы. Будет ли это модерном, тем более – завершённым, ультра-модерном? Разумеется – нет.

Если модерн так на том настаивает, оставим субъект парадоксальный [subjectum discordus, ставший в последние времена ещё и molestus] ему; из всего вышесказанного – **вывод # три**, самый краткий, - становление субъектом необходимо пережить, чтобы спустя некоторое время и впредь – как можно дольше, от него отказ[ыв]аться. Не в пользу дивидуации, но индивидуации (о чём будет повествоваться в письме о Работе). Субъект должен перестать быть самим собой, чтобы не быть врагом самоё себе; перестать накапливать «яд», выплёскивающийся, быть может, без его ведома; под предлогом разнообразных “чрезвычайных ситуаций” и общей, - чрезмерной, - боязнью мира. Необходимо понять, но, - что будет особенно сложным, принять как данность, чудесную и чудовищную, простую вещь, - Радикальному Субъекту необходимо обратить бесполезность и вредоносность окружающего мира в обратно противоположное тому.

И да будет сё практикой Агхорического Императива в ситуативных условиях.

О НЕДЕЯНИИ.

Что бы “ни о чём не думать” надо ещё постараться.

Папа.



Открывая новый файл в Word'e, «укальывая» отточенным грифелем карандаша или стержнем ручки пустой лист, в тетради ли, в блокноте, «обыкновенный, формата А4», всегда ставим перед собой вопрос – с какой фразы начать. “Как завершить эту фразу”, - немного погодя, когда одна строка утыкается в край листа – электронного или бумажного. Как нам подсказывает и [суб]личный опыт, и донесения со стороны, практикой не вырабатывается навык, описуемый приблизительно как “каждое словосочетание – удачный афоризм, расхожая цитата”. Набрав клавиатурой абзац, записав его от руки, по-хорошему скриптор возвращается взглядом к началу, к заголовку, пробует перечитать.

Ему может не понравится. Весьма и весьма не понравится. Испытывая отвращение к собственной творческой / умственной импотенции, он прочитывает ту же первую строку, и думает – “так, на чём я остановился...”; а затем, уцепившись вновь утопающим за соломинку Замысла

в потоке повествования (не особо бурном, но борьба с ним становится «героической» оттого, что грозит воспламениться и сгореть от аритмичного напряжения головной мозг)... Понимая всю важность и необходимость первичного энергийного импульса,

следует понимать и то, что от единичного «всплеска» в процессе Работы ни пользы, ни смысла, ни бессмыслицы не будет. Вообще.

Поэтика времени и пространства, присущая Преданию, суть не унифицированного и нетелеологического вос-произведения Традиции, требует ритмической организации. Помнится, мы когда-то рассказывали о генеалогии стихотворной метрики, в частности, гексаметра, из последовательности вращения вёсел, черпающих волны. Подчеркнём, что некие субъективные аналогии и метафоры, напр., с ритмом сердцебиения или дыхания, здесь не уместны: эта ритмика легко сбивается из-за малейших внешних колебаний, порой – совершенно незаметно для нас. Вдохнул аромат росистого луга, ступив на влажную траву босиком – а сердце взволновано отбивает такт галопом, будто перед отнюдь не-природного про-исхождения циклопическим агрегатом (ср. образам “Котлована” Платонова). Или, напротив, и то и другое оставляет безразличным, пульсация крови почти не изменилась.

Выстраивать ритмику пульса и дыхания, согласуясь с надличной стихией, какой бы то ни было, - человеческим коллективом или предсущим элементом (частицей небытия), можно только чередуя периоды восприятия и работы. В состоянии созерцания мы концентрируем внимание, преобразуем своё мышление в поглощающую воронку, точнее, в «короб» (одно любимых слов Паты, ко всему прочему), отдаём все психические силы «собирачеству». При недеянии «крышка короба» закрывается, наполненное достаточным содержанием мышление должно «улечься», а позже – «забродить»; не передержанным оно будет годно для Работы [актуализации] и обработки [как материал и инструментарий]. Нам как-то не импонируют негативные гиперболы, такие, как “колючая тьма нашего содержания”, “внутренняя пустошь, бездна ума” или “мрак сознания”. Всё это, конечно, привлекательно, но лишь как полярная противоположность калейдоскопической пёстроте, от которой режет глаз наяву.

Давай присмотримся «вовнутрь». Там не темень, там даже не сумрак. Да, от интерпретации многие образы, подхваченные, напр., в продукции массмедиа, блекнут. Да, кажущийся «днём» безобидным крохотный образ в призме бессознательного может вырасти в гигантский зловеющий силуэт. Но, из-за бессознательной симпатии эти образы покрываются пылью и трухой избыточных «адаптирующих» нюансов. Если сюжет об Опасной Вещи – непременно такой, чтобы «читался» подобно увлекательному роману; если умозрительная космологическая символика – обязательно в изысканной графике, дабы не заскучать.

На уровне абстрагирования – известная притча о бодхидхарме, буравящим монастырскую стену взглядом в течении девяти лет. Неудачный в виду модерновой адаптации термин «медитация» (адаптирует его картезианское “*cogito ergo sum*”), по обычаю втискиваемый в описания фундаментального отказа от онтических категорий и самой категории «сущего», подразумевает, что великий подвижник развивал навыки восприятия. Слушал посвист ветра, шелест листвы, перезвон капель дождя, ударяющих, как молоточки о клавиши ксилофона, о черепицу; пристально вглядывался в каждую царапинку на кирпиче, слоющуюся и шелушащуюся краску, ответ солнца и лунный блеск, колебания теней. В сумме же перечисления можно продолжать и продолжать, - в столь строгом самоограничении едва различимая поступь шагов вдали, по ту сторону Стены, становится Событием. Совсем как воображаемая угроза, мелькнувшая в предрассветном сне, и всколыхнувшее только что унявшуюся буйную фантазию. Попытавшись действительно «ни о чём не думать» человек просто теряет некую долю потенциальных размышлений [собственно, латинизм *meditatio* и есть “размышление”]. Когда к случайным обрывчатым фразам перестаёшь прислушиваться, мелькнувшая (в памяти) фигура не фиксируется идентичностью, мужчина или женщина, старик или

юноша, стройная или коренастая – в некоторый момент они могут вернуться с большей достоверностью и отчётливостью.

И занять собой внимание, отобрать время, или отсутствие такового [детерминация числительными на циферблате уступает место иному мироощущению]. Образуется рекурсия, также учреждённая гемарменом: она вытягивается в одну линейную плоскость, не позволяющую воспринимать и различать периоды, по аналогии с музыкой – интервалы. Когда мы устаём? – *sub specie* неких хитроумных планов™ и выполненной работы мы *всегда* усталые. Когда мы, наконец, переродимся? – отвечая нескромно вопросом на вопрос, - *а заметим ли?*

Вряд ли. Потому что, в отличие от индивида премодерна, или, того, кто нам известен по Преданию, органически согласовывающего темп и тембр космоса со своим, физическим и душевным, у нас любое мало-мальски идентифицируемое переживание (напр., тревога перед неким кошмарным будущим, хотя в точности неизвестно, каким) вызывает пневматическую аритмию и диссонанс. Потому что мы слишком хорошо себя знаем, внеположно тому, какими сигнификационными схемами мы пользуемся, как их выражаем – невнятным бормотанием или чеканными канцеляризмами.

Любому человеку, впитавшему в себя минимальное «содержание», предписанное и регламентированное гемарменом, трудно постичь, каково это – «впустить в себя пустоту». Или раствориться в вещном мире без остатка, а затем собраться воедино, из одной «молекулы» восстанавливая *ось*, затем – *корпус*, далее – «всё остальное».

Каждый раз, когда мы заводим речь о пустоте, вспоминается не сартровское ничто-решето, и даже не хайдеггерианская тотальность, - мамлеевские персонажи из «Шатунов». Вот уж у кого «в голове ничего нет», это мысленная безмолвная пустошь, где ни малейший шорох, ни одного бледного сухого стебелька, - совершенно гладкая, равномерно освещаемая. Матовое свинцовое небо над ним, и неясно, рассвет или закат, полдень или ранний вечер. Пространственная аллегория в данном случае употреблена лишь затем, чтобы предельно затруднить ответ на умозрительное вопрошание: что в этом пейзаже – лишнее. Смена дня и ночи? Крохотный камешек, попавшийся под ноги?

Иной скажет – отрадно быть здесь. Соорудим же песочный храм.

А мы говорим, что здесь отрадней камнем быть, тем, что не полируют ни ветры, ни дожди, или – *не быть вовсе*.

Примечателен в «Шатунах» прозябающий самоедством мальчик Пётр, в эпилоге «съевший сам себя»:

Петенька, правда, отличался тем, что разводил на своем тощем, извилистом теле различные колонии грибков, лишаяев и прыщей, а потом соскабливал их - и ел. Даже варил суп из них. И питался таким образом больше за счет себя. Иную пищу он почти не признавал. Недаром он был так худ, но жизнь все-таки держалась за себя в этой длинной, с прыщеватым лицом, фигуре.

Эта тощая фигура может символизировать собой сам гемармен, поедающий себя изнутри, тянущий и вытягивающий бытие. То, что по сравнению с известной аллегорией Дали [[“Осенний каннибализм”](#), 1936] персонаж «выродившийся», означает – *так и было задумано*, фатум и предопределение в *актуальной* невозможности «сбежать из пустоты».

Недеяние позволяет это не столько осознать, сколько ощутить, - коснуться пустоты, услышать одной ладони» (не сгибая пальцев, что было бы физической уловкой); вообразив себе последовательное исчезновение предметов. Как в популярном сочинении «Одиннадцать утверждений Даниила Ивановича Хармса»: * Смотри: "Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом" 1927 год. **I утверждение.**

Предметы пропали.], сперва крупных. Затем – мельчайших, и так вплоть до атомов (представлений о них), чувствуешь на уровне καὶ σαρκοειδῆς [плоти] поступательное движение, от первоначальной «чистоты» отдельных ощущений с тем, что даёт со-знанию восприятие. Недеяние апеллирует к предсущей тиши, из которой раздаётся космогонический “Ом” в доступных обыкновенному смертному пределах «четвёртого измерения». Это повторная, и неоднократная в дальнейшем, способствующая прогрессу и дальнейшему улучшению ситуации попытка вос-произвести примордиальный ритм. Завершенное недеяние – когда ощущаешь «себя» закавыченным, пребывающим в абсолютном вакууме, - ни памяти, ни припоминания виденных в Мире Идей прообразов, ни развёртывающей их, как бумажные самолётики, Мысли. То, что не-ощущал Нет [Томас Кац] после того, как возвратился на изнанку сущего.

И, в завершении этого очерка, «одна поучительная история»:

Однажды, чуть солнце выглянуло поверх рыхлой хвои и пышной листвы берёз, Пата выполз с чердака, где опустошённая хорьками голубятня и выжженные осиные гнёзда, просочился сквозь щель между ставнями и понёсся на клеверный луг, с которого ещё не сошла роса. Рядом с тропинкой, огибающей луг, посреди мягкой зелени было «бельмо», - овал приблизительно полутора метров в длину, сплошь из песочного цвета глины. Ни одной травинки не выросло на нём, сколько мы себя помним и сколько бы ни орошали его дожди. Только трещины в засуху разрастались на нём, от смещённого центра к периферии. Пата «кувырком» долетел до него, сжался сидя на коленях, руки, точнее, «остов» их выдвинул к земле, попробовал прижать их к надтреснутой почве. Так как он был «юрэиём» [призраком], глинозём впитал его конечности по локоть, так, что отросшие, редкие и сальные космы тоже впились в землю.

- Что он там разглядывает, заслонив лохмотьями и волосами свет - думал да гадал я, - между тем, Пата принятые между нами жесты внимания игнорировал. Выглянул в полдень – застыл, как был, сторбленным. Взглянул в самое жаркое время дня, когда земля раскалилась так, что босиком даже об сочную газонную траву можно ступни обжечь, - навис над глиняным пятном, и солнечные лучи пронизывают прозрачное костлявое тельце, того и гляди, льняная ткань (клячья простыни из роддома) и кожаная его «обертки» задымятся. Поглядел за сбором яблок к вечеру – застыл, то ли проявляет Подвиг Терпения, и ждёт чего-то, или просто забыл, чего ждал и заснул, что с ним нередко случается.

Вернулся Пата на закате, всем своим видом представляя самодовольство.

- Ну, что же там, уподобился Бодхидхарме [в силу понятных причин нам проще было употребить японский синоним – “дарума-дайси”], просидевшим девять лет кряду лицом к стене?

- Мудак. Я наблюдал за муравьями. Надо же мне от вас всех отдыхать. Окружающие меня существа *слишком много думают*, чтобы я этого не заметил.

Приложение: упоминая в начале эссе литературные опыты, а в «центре» - притч о Бодхидхарме, вспомнили о т.н. «[нобелевской речи](#)» Кавабаты. Этот дифирамб азиатской природе и поэзии гораздо осмысленнее занудной патетики европейских литераторов.

Цитата -

В этом душа восточной живописи. Смысл восточной живописи сумиэ в Пустоте, в незаполненном пространстве, в еле заметных штрихах.

Цзинь-Нун говорил: “Если ветку нарисует искусно, то услышишь, как свистит ветер”. А дзэнский учитель Догэн: “Разве не в шуме бамбука путь к просветлению? Не в цветении сакуры озарение души?” Прославленный мастер японского Пути цветка (икэбана), Икэнобо Сэнно (1532—1554), изрек в “Тайных речениях”: “Горсть воды или ветка дерева вызывают в воображении громады гор и полноводье рек. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений. Совсем как чудеса волшебника”.

В познании явных [вещей] люди совершенно обманываются, подобно Гомеру, который был мудрейшим из всех эллинов; ведь дети, убивавшие вшей, обманули его, сказав: "То, что мы увидели и поймали, мы выбросили, а чего не увидели и не поймали, то носим".

Чей-то дурной перевод Гераклита.

[Этим очерком мы начинаем краткий, скорее всего не пространнее трилогии, цикл наших не-экспертных заключений о германской философии XX века, о германской и эллинской поэзии, мифологии и теологии в оптике германской мысли. Первый наш очерк будет посвящён одной из важнейших работ Мартина Хайдеггера, его аналитике поэзии Гёльдерлина; второй – братьям Эрнсту и Фридриху Георгу Юнгерам, их поэтике и эстетике; третий – германскому романтизму, на примерах поэтов, художников и философов в частности, двух Фридрихов, - Шеллинга и Шиллера].

РАЗ



Хайдеггера с Юнгером сталкивать, под каким-либо предлогом и противопоставлять друг другу в любом контексте и приличном интеллектуальном сообществе не принято. Для одних параллели между Мартином и братьями Эрнстом и Георгом Фридрихом служат конденсации беспочвенности обвинений в так называемом фашизме, национал-социализме и пресловутой человеконенавистнической идеологии, которую разработали в учреждениях советского агитпропа совместно с доктринерами НСДАП. Для других это повод обратить пристальное внимание и на Юнгера глазами Хайдеггера, и взглянуть в оптике Юнгером на автора **“Бытия и времени”**. Обе вариации, в нашем понимании, ведут к неудовлетворительным итогам – Юнгером и Хайдеггера предписано рассматривать в перспективе неких частных симпатий и антипатий, а также в аспекте профессиональной деятельности, противопоставляемой нами Работе, делающей свободным,

Становятся прилежными академическими философами, - читают только Хайдеггера, мыслят только его категориями, постепенно подвергая ревизии и так уже раскритикованный на корню перевод покойного Бибикина. О Юнгером стараются не припоминать, - для сумрачного германского гения, провозвестника Второго Начала, это всё равно, что порочащие связи для правоверного, послушного воле к власти партайгеноссе. Вариация недоразумения, - звучащая лейтмотивом к дискурсу консервативного революционизма критика фашизма «справа» и знакомство Юнгера с инициаторами покушения на рейхсфюрера 20 июля 1944 года с множества лёгких рук и того же веса мозгов превращается в весомые основания симпатий Хайдеггера к Юнгером. Сродни, - треклятые фашисты вопрошать Бытие не позволяли, как тут в Соппротивление не вступить. Вступал ли туда Юнгер – вопрос закрытый и заколоченный для верности: кого это сейчас тревожит, кроме мемуаристов, существ бесполезных и вредоносных?

Здесь должным считаем пояснить, - любая критика суть один из «родов» или, если угодно, «классов» описания, иными словами, критика есть осмысленная история. По словам и вещам Мишеля Фуко[лта], нет истории, которая не была бы критикой, - достаточно малейшего сомнения, недоверия читающего или слушающего историю, чтобы критическая нота зазвучала, эхом отзываясь в множестве многословных возражений оригиналу, источнику. Согласно пуганному горящим кустом французскому интеллектуалу Полю Вирилью «история есть фашизм». В сущности, любой критический, описательный дискурс, не артикулируемый «так, как надо», скажем, либералам, ничего сложнее Уэльбека, или анархистам, любящим Маринетти и Крученых, - *есть фашизм*. Замысловатую ситуацию политической и эпистемологической парадигмы только постструктуралистам не удалось упростить до элементарного суждения - «каждый раз, когда мы отказываемся от неких убеждений, от политической идентичности особенно, мы не приобретаем отрицающий префикс "а~", и можем рекомендоваться аполитичными, или апофатически мыслящими, а мы просто схватываем, и схвачены какой-либо другой парадигмой». Если слегка развернуть эту тривиальность, выяснится, что история и фашизм, будучи неразделёнными, - рудименты современного человека, подобные его витальному безобразию и физиологическим потребностям. Заявим и глубинное, фундаменталь-онтологическое: ташем-та, забвение бытия под предлогом заботы и защиты сущего есть неуклюжая попытка соскочить в неудержимого поезда, дико *несущегося* на всех парах во мглу Ада, например, - притом, что спрыгивать~срыгивать как-то не хочется, имманентно витальный инстинкт самосохранения или этикет не позволяет. Проще говоря, оставаться в некоем сущем, существенном порядке, наделённым историей, и потому - фашистским по умолчанию, крайне неприятно, и спасительным для слабоумных манёвром становится категорическое, критичное в их понимании, возражение идентичности. Любой. Политической, экономической, этнокультурной, этнической, и так далее.

Итак, наш весёлый эшелон проездом на Ычанево незаметно, но неумолимо докатился до основополагающего различия между Юнгером и Хайдеггером: последнему было очевидным, что схваченность бытием, постижение Dasein, то есть, «вот, бытием», совершенно, - потому что внеположно идеологической, идиоматической и прочим всем координатам. История для Хайдеггера была не более, чем хорошо темперированным, проницаемым, очевидным, вместе с тем - невероятно длительным развёртыванием Первичной Ошибки, - Забвения Бытия. Параллели с гностическим метаисторицизмом в данном случае исключаются, - у Хайдеггера не вызывает даже тени сомнения, что человек запомнил что-то очень важное невзначай, *ситуативно*. Просто нечто, сущее так его увлекло, что он, в частности, европеец, заморожено наблюдавший ничтожающие чудеса в онтическом решете, проморгал и онтологию, и близящееся всепоглощающим цунами Ничто. Фигуры Космократора, и присных его, архонтов, теогонический миф и миф о грехопадении гностиков Хайдеггеру будто не знакомы, хотя кодексы Наг-Хаммади извлечены озлобленным джином из глиняного сосуда при его жизни.

А из них временами рассуждающий в манере германских мистиков, Мейстера Экхарта особенно, автор «Бытия и Времени» мог почерпнуть показавшуюся бы ему очень правдоподобной теорию в аспекте регресса и дальнейшего ухудшения ситуации. Вещный мир и приставленный намеренно (sic!), наблюдать, присматривать за ним человек, тоже изваянный триста шестьдесят пятью архонтами, не могли не совершить первичной ошибки, суть причину всех последующих ошибок.

Эта ошибка, не апеллируя к гностической космогонии, предсказуемым и очевидным образом - сущность подражания. Тварное подражает не-тварному, осуществляясь, но не бытийствуя. Развернём подробнее, особенно, последний термин - что значит «бытийствовать»? Это означает, прежде всего, что осуществляемое, мыслимое как бытийствующее, может достичь первозданного не-бытия. Но этого как раз не

происходит: полиморфное онтическое начало ускользает от бытия, подобно тому, как выскальзывает из внимания внутренняя конструкция под внешним слепящим впечатлением. Бытийствовать, - воспринимать, ощущать, мыслить предельность, конечность, и вместе с тем, подлинное начало сущего, а не его синхроническое состояние, эссенциальность. Но для этого помысла, по-става, постановления, нужно выработать особую оптику, чем Хайдеггеру было то ли некогда, то ли лениво заниматься, и влекли его совсем другие методы восприятия. В частности заметим, что странные, прямо скажем, первертные в современном недопонимании смысле, взаимоотношения людей и богов, в которых уже знаменуется поляризация онтологии и онтики, Хайдеггера заинтересовали не больше, чем гностицизм, то есть никак. Бытийствующие, не ведая тяготения синхронии боги частенько ставили на место человека, зарвавшегося своими помыслами о сущем, якобы равновеликому бытию.

Вспомним Асклепия, отпрыска Феба далекоразящего – он так преуспел во врачевании, что во всей Аттике буквально перестали умирать. Было бы просто объяснить дальнейшие злоключения ослеплённого Громовержцем Асклепия моральной деспотией и назиданием смертным, чьё наименование само за себя говорит, но давайте раскинем мозгами (только не очень далеко, потолок отмывать не хочет) в фундаментально онтологическом масштабе.

Манифестационист, а эллинский миф в эпоху биологического существования чудо-лекаря (не ранее II тысячелетия до рождества Христова) – безусловный манифестационизм, всегда полагает своё посмертие, как одну из многих ступеней проявляемого бытия. За подлинной смертью просто не может не последовать подлинное же возрождение, - но для того, чтобы оно по-следовало, нужно в самом деле умереть, манифестировать свою предельность и собственную **определённость** в иерархии. Иерархические градации во многом предопределяли модус посмертия – к слову о том, откуда берётся аристократия и наследственная власть; это последовательность воплощений, в которую некстати вмешивается какой-то подозрительный тип, сын смертной, в одной из версий мифа - Коронида, в другой – Арсинои. Пифия в ответ на запрос аркадянина Аполлофана подтвердила, что Асклепий – сын Корониды, дочери Флегия, основателя одноимённого полиса в Беотии. Осерчавший на свою дочь за любовную связь с Аполлоном, Флегий в состоянии аффекта сжег храм бога, но в наказание за это был расстрелян на месте, с Высшим Судом и Следствием, из лука тифоноубийцы. В подземном царстве был осужден на казнь, идентичную каре Тантала – сидеть под скалой, готовой каждую минуту обрушиться, терзаемым вечным голодом и жаждой.

Что касается Корониды, - она, уже забеременев, влюбилась в смертного Исхия. Ворон об этом настучал клювом Аполлону, и тот, во гневе ещё более скорый на расправу, послал единоутробную сестру покарать неверную. Когда тело начиненной стрелами Селасфоры [светозарной, эпитет Артемиды] женщины сжигали на костре, Феб выхватил из огня младенца Асклепия, прямо из чрева возлюбленной, и отдал его на воспитание кентавру Хирону, - согласно **“Немейским песням”** Пиндара.

Словом, с родословной Асклепию не повезло, - сплошь одни инсургенты, нечестивцы и целая одна изменница богу, - оттого жизнь не удалась. Симптоматический аспект – неблагородный, бастард, и неблагодарный за спасение богам, Асклепий принимается истребляя – отрицать жребий всех людей, смертность. И – всё, помысел Бытия, через живительное в контексте манифестации Ничто, в локализованном этнокультурном диспозитиве устранён. Посредством мифа, - предания, как передачи, транзитивности, решительное “Нет!” смерти распространяется, расползается губительной эпидемией от эпицентра к периферии, просачиваясь через край – в другую парадигму, преёмственную предыдущей. Асклепий своей деятельностью ставит под критический = исторический вопрос возрождение, манифестацию – имеет ли оно место и время *быть*, и надо ли к

нему стремиться ценой собственной трагической гибели? Этот же вопрос, с гораздо большей отчётливостью, ставит ребром по горлу ближневосточный креационизм.

О заимствовании эллинской идиомой пагубных метод персидского креационизма мы однажды уже рассказывали, отметим лишь один онтологический аспект такового – любой миф, и не только аттический, в пересказе ли Гесиода, или репрезентации Мирча Элиаде, стало необходимым трактовать в контексте дихотомии манифестационизма и креационизма. Предание, таким образом, неукоснительно трансформируется в ту самую историю философии, историю мысли и онтологического помысла, которую с такой любовной тщательностью выстраивает Хайдеггер.

Мы ведём слушателей к тому, что Хайдеггер под вполне понимаемыми нами предложениями занялся приблизительно тем же, что и Асклепий, - при сноровистой помощи противопоставления плюса и минуса, двух полюсов, добиться Второго Начала. Не претерпевая мучительной агонии и медлительной, потому что ставшей неповоротливой, смерти. Предлагая, переоценив, пересмотрев – вспомнить, «с чего всё начиналось». $\text{Χρῦστος ὑένος ἀνθρώπων}$, однако, Хайдеггер сразу же исключил – мы не находим в его сочинениях описаний прецедентов схваченности бытием и укоренения в бытии; только излюбленные некоторыми намёки, что скоро, уже вот-вот [da-dasein]. Немного перепало досократикам, но и они, владея – не берегли, потерявши – не плакали.

Далее, Хайдеггер косвенно утверждает, - преодоление метафизики состоялось до него, и продолжится позже; развитие конфликта между бытием и сущим просто затянулось, и теперь, выразившись словами Мирча Элиаде, «мы ни в чём не можем быть уверены». Но Второе Начало, постулируемое Хайдеггером, произойдёт вопреки повторяемому с успокоительной регулярностью ответу Сторожа, - «*всё ещё не...*». Нельзя не упомянуть, что симпатии Хайдеггера пессимистам Шопенгауэру, Ницше и Шпенглеру несколько не противоречили тому: эсхатологическая непреходящая тревога [*die Besorgnis*] позволяет лишь одно – ждать “своего” Асклепия, не замедляющего маячить на горизонте, в близящейся близости. И в целом, философия Второго Начала – это прицельный бросок *am meisten* от архаики, в ту область, где уже началась философская антропология с диаметральной разницей «ещё не...» и «уже не...».

Расскажем в нескольких строках об этом «ещё» и «уже». Периодизация истории мысли, истории онтологии, и самого бытия у Хайдеггера не слишком отличается от... марксистской. Началось всё с называемых косным эпитетом досократиков, постановивших первое вопрошание, - «что есть...». Просто «есть», не подразумевая синоним «питаться», - через Платона, платонизм и неоплатоников, через наследовавшую диалектику «платонизма для масс», схоластику, к философии Нового Времени, прямым путём выведшей глагольный вопрос к пределу онтического, - «что есть существовать?». В двусмысленных и полисемических ответах на него заблудились мыслители всех поколений, на протяжении двух с половиной тысячелетий – впору задуматься, что Ницше, завершая собой, и своими сочинениями европейскую философию, «слегка» припозднился. Так и с возражениями Сократу полемистов со всех сторон, особенно, софиста Парменида, – их ошибочность заключалась в *несвоевременности*. Они всегда оказывались запоздалыми, как и общеизвестное парменидово “бытие – есть, не-бытие – не-есть” – как будто по-рождённое самим Сократом, наталкивающим собеседника на противоречия самим себе. Короче, Платон, возможно и добросовестно записывающий за Сократом, во всём виноват, - в том числе за передачу заведомо ложных суждений о бытии и времени.

Несколько строк о прилежной записи, переписи и переводах. Александр Гельевич говорит нам о «коренном», укореняющемся и коренящемся мышлении, когда слова и словосочетания этимологическим образом возвращаются к своим началам. А теперь помыслим, не обязательно с ретроспективной этимологической артикуляцией, почему

преподаватель классической филологии Ницше крайне редко обращался к генеалогии слов и самому вместилищу смыслов, дому бытия, языку. Четырежды «нет». *Нет*, практика в Базельском университете не была настолько драматична, чтобы на всю оставшуюся жизнь преследовало раздражение при одном упоминании лингвистических терминов. *Нет*, - афоризмы и максимы с критическим освещением языковой парадигмы не послужили популярности сочинений, по крайней мере, при жизни Ницше – они будут значительно позже подхвачены и подняты на щит структуралистами, чьи интересы и стремления не особенно сходны с семантическим импульсом оригинала. *Нет*: влияние Шопенгауэра, менее всего интересного в лингвистическом плане, не настолько велико, чтобы афористика, где всякое нечаянное Vorstellung волит отчаянно, как Ницше нравилось, стала единственным буржуазно лже-научным методом письма. *Нет* – отрицание критериев научности, как довлеющей категории, отказ от диалектики в пользу интуиции не параллелен и не идентичен отказу от не самой строгой дисциплины языкознания.

И вот теперь уже – «да»: наблюдательному Ницше уже в 80-е годы позапрошлого века ясно виделось, как в возведённый отнюдь не филологами с академическим образованием дом бытия вселяются не ценящие искусство зодчих и изысканность интерьера жильцы. Это не беснующиеся, вздорные «юксты», легко разоблачаемые на месте онтологического преступления – дебоша в доме бытия, и деконструируемые без амнистии; всё несчастье в том, что это вполне легитимные, консистентные компоненты речи. Не только обыденной. Язык оказался слишком засорён говорением, он стал «заговариваться», непринуждённо, без сомнений и угрызений выдавая всю «подноготную». Если различие между бытием и сущим, упущенное уже досократиками, настолько отчётливо проговаривалось в элементарном уровне морфем, например -

τὸ ὄν (бытие) ~> ὄντα (быть чем-то) ~> ὄντος (бытийствующий)

ἐνόντα (сущее) ~> εἶναι[ς] (сущий) ~> οἶσις (ношение) ~> οὐσία (“относительное” сущее, выдававшее себя за абсолютное)

- стало быть, язык враг наш уже давно, остались лишь какие-то рекурсивные (повторяющиеся) манёвры дипломатии, плюс, как ни странно, литературный язык. Не в последнюю очередь потому, что в условиях репрессивного языка, дома, перестроенного в пролетарский барак или тюремную казарму, у литератора единственно есть крошечный шанс проговорить не под диктовку парадигмы. Философу же с лингвистическими прерогативами, да и вообще любому образованному человеку грозит заплутать в катакомбах палеолингвистики, на погибель сущему и к торжеству бытия раскопанной где-нибудь в Триполье, - где коренящихся слов и коренных слогов в потёмках и безмолвии настенных росписей не разобрать.

Исключение – Егорий Простоспичкин, но он, как известно, не человек.

Порой случается, что литератора просто не успевают заткнуть те, в чьих интересах сохранить категории онтического и онтологического в мутной густой смеси, некоторыми используемой в качестве плодородной почвы. Хайдеггер подобное почвенничество замечал за **Иоганном Фридрихом Гёльдерлином**, не оставив, единственный раз на нашей памяти, за пределами анализа имманентную архаике концептуальность поэзии – диалог со стихиями и их персонификациями, богами. Эссе 1951-го года, пожалуй, единственная известная нам работа, где не сквозит упрёк предыдущим поколениям мыслителей и поэтов, сплошь опоздавшим на пиршество духа.

Но и только. Свет Гелиоса не сошёл клином на одном Гёльдерлине, которому посчастливилось быть схваченным бытием [dasein!] и тут же расплатиться за богодуховенную поэзию умом. И ободрённый поначалу Хайдеггер начинает тосковать, пишет о пятом ключевом слове (“всё же”) в минорных тонах, а завершает эссе практически дежурной патетикой:

“Скучно время, и потому чрезмерно богат его поэт, — так богат, что часто хотел бы он ослабеть в воспоминаниях о бывшем и в ожидании будущего и только спать в этой кажущейся пустоте. Однако он прочно стоит в Ничто этой ночи. Так как поэт остается у себя самого в высочайшем отъединении, сконцентрированном на своем предназначении, он замещает свой народ и потому, в самом деле, добывается истины”.

Оставим на бессовестности переводчиков расхожие фразы, сродни «поэзия должна служить своему народу» (а Гёльдерлин по Хайдеггеру разрывался между божественным и народным), — хотя поэзия и служение социализации вещи не вполне совместимые, — сконцентрируемся на одном *существенном* нюансе. Хайдеггеру свойственно помещать своих «персонажей» в центр некой *кажущейся* пустоши, пустотности, нищеты и ничтожества. Выдвинем гипотезу, почему подобная метода применяется с регулярностью «через статью»: легко угадываемое нами «вопреки», пятое ключевое слово “*всё же*”, спасительная соломинка в стремнине Гераклита. Для Хайдеггера было совершенно невозможным, чтобы уникальный художник, поэт или мыслитель не были субъектами. Своей насыщенностью противопоставляемыми стремительно «опредмечивающемуся» миру. Примечательны строки:

“Когда мы постигаем эту сущность поэзии, состоящую в том, что она есть установление бытия посредством слова, мы можем предчувствовать нечто истинное в слове, сказанном Гёльдерлином, когда он давно уже был взят под защиту ночи безумия”.

В известном смысле, психическое расстройство защитило Гёльдерлина от поглощения гораздо менее восприимчивой к поэзии истиной логоцентризма и современной поэту рациональности. Угроза не пустая, учитывая рефлексии и самого Хайдеггера. Евгений Всеволодович Головин пишет, что каждый сходящий с ума делает это с самыми серьёзными намерениями и основательной целью. Но целесообразность безумия, иначе говоря — не-раз-умия, не разделённого (ни с кем) ума, и психическое расстройство, в идиоме европейского модерна строго определённого, верифицированного и запротоколированного, неместимо для философской телеологии. Весьма показательное, — Хайдеггер, конструируя критическое описание биографии Гёльдерлина, апеллирует практически к типичному для модерна обвинению архаики и традиции — несоизмеримость умопостижимой части, объективного и единственно возможной в модерне целостности — субъекта. По данным Фуко[лта] вменяемым в модерне остаётся только субъект, любая объективация вытесняется, по-становляется за грань, где «нет здоровых, есть только необследованные». Субъект, которому знание о себе даётся исключительно в его эмпирическом опыте, мгновенно становится крупной точкой на плоскости, со всех сторон — периферия, и «уронить себя» за неё очень легко. А боги... да, боги немилосердны, «поэт подвержен молниям богов».

Хайдеггер не замечает известной традиции закономерности изменений ума, а не одного сознания, поэтическим вдохновением, которое следует искать не в переводах Горация (см. ниже) — гораздо ранее, в скудных останках сольной мелики, например, Алкея и поэмах Гесиода. В том, что за узкие нейтральные полосы фундаменталь-онтологии не поместиться, как не вписывается в них, например, мантика. Тем не менее, не ускользнуло от Хайдеггера одно существеннейшее условие рождения искусства. Поэт, казалось бы, должный будто бы выступать от имени бытия в сущем, напротив того, манифестирует сущее в уже готовом ко всему бытии. Что значит «ко всему»? Значит, в том числе — исчезнуть, истлеть, выветриться, и единственным средством удержать его становится сущее, осуществляемое в языке. Хайдеггер драматизирует эти взаимоотношения:

Только там, где есть речь, там есть Мир (Welt), что означает: круг постоянных изменений решения и работы, дела и ответственности, но также и произвола и шума, упадка и замешательства. Лишь там, где господствует Мир, есть История. Речь есть имущество в некотором первоначальном смысле.

Поэт традиционный буквально, нередко, тавтологической метонимией («это» — «это», “то” — “то”) называет своими именами вещи, вещает о вещах, и о неких процессах,

происходящие в вещами. Не следует удивляться тривиальностям и трюизмам, - для архаика было важнее передать строй, порядок чувствуемого им мира. Более того, примитивный поэт и есть незамутнённое сущее, претворённое богами, то есть закреплённое в бытии, фундированное бытием; поэзия – это отражение существенного в сущем, особая верификация сущего. Едва заметные колебания в сущем отражаются на поэте с большей силой, чем на ком-либо ином, - его восприятие есть статуарное, до-историческое со-стояние. По крайней мере, к подобным представлениям должны вести немногочисленные сохранившиеся *до и для нас* источники. Традиция умолкает сразу же, как начинает проговариваться о своей неприглядной для Хайдеггера исторической сущности, - во всех известных нам переводах сквозит одна и та же тенденциозная мысль: Традиция неминуемо свёртывается в Истории. И вот здесь-то кроется суть нашего неприятия интерпретативных работ М.Х. У Хайдеггера, многими сочтённого традиционалистом, не было обыкновенной, общей для всех традиционалистов ретроспективной дифференциации *истории бытия с историей человеческой*. Оформим в примитивном – история искупается поэтами; традиция, хоть и дурна собой, у ней подозрительно неженственное лицо, - потому что войны и жестокости, - преобразуется в непостижимой сущности поэзии. Подозрительным нам кажется и то, что Хайдеггер в одном из самых значимых своих, и для него самолично эссе не упоминает основополагающих для него же постулатов Гераклита: о рождении *сущего, проявляющего, высвечивающего бытие* в пламенной борьбе противоположностей (и чаду кутежа, например), и том, что вечность – дитя играющее, подразумевая – лишь подлая всерьёз история бессмысленна и беспощадна.

Да, история скатывает человека по скалистой наклонной плоскости с горних высот в симулятивный Ад и повсеместный Израиль, где Ханна Арендт, она пропитана насквозь кровью и смердит насилием. Но, среди этого ужаса и морального террора рождается поэт, тут же начинает свидетельствовать, вопрошая; тошнотно-головокружительная история человечества с виртуозными пируэтами деградации сразу же обретает осмысленность, ну, а кто в подобное не верует, безусловно – контртрадиционалист и рессентиментщик-сменщик. В таком случае у нас уже не два варианта развития отношений бытия и поэзии, а четыре. Перечисляем: **а)** отрицать вверяемый Хайдеггером функционал, амбивалентно, - ответственность Поэзии за Онтологию; **б)** отрицать историческую значимость Поэзии, под предлогом её безответственности и неисполнения возлагаемых Онтологией надежд; **в)** ничего не отрицая, признать Поэзию в качестве существенного аспекта дезонтологизации, потому что она – исторична; **г)** отрицать Онтологию, представляющую собой диатрибу против Поэзии – что, в сущности, выполнили апологеты ПоМо.

Мы намеренно изъяли из всех четырёх вариаций категорию восприятия, [по]слушания и [про]чтения, которые ни о чём не свидетельствуют, и во многом, если не в целом, зависимы от того, какую оптику мы возьмём себе на вооружение.

В контрасте с эстетической насыщенностью эпоса и мелики история побуждает сначала жалеть, что она стала «сбываться», многократно «повторяясь», внушать негодование, и тогда уже манипулятором подать до постмодернистского (гносеологически расистского) непреходящего желания аннулировать историю со всеми её курьёзными итогами и гнусными инсинуациями (потому что история есть злокозненность).

Со времён Аристотеля Стагирита, однажды сказавшего, - “много лгут певцы”, иерархический статус «верификатора» переходит не в порядке наследования *специалисту*. Тому, кто уже считает сущее недостаточным или, наоборот тому, избыточным, помещая над ним непреложное бытие. Хорошо же, - говорим мы, - давайте эсхиловым хором, олицетворяющим собой Фатум, воскликнем возражение уроженцу Стагиры. И отзовётся нам вот что: мы можем воспользоваться какой угодно а-диалектической казуистикой и апофатическим богословием, можем практиковать

енохианскую магию или лурианскую каббалу, - всё это не лишено *поэтики*, на усмотрение адепта являющейся частью лжи, служащей истине, или фрагментарной правдой в непроницаемой тотальной кривде. Но, если мы становимся на пьедестал фундаментальной онтологии, громоздим основания и мостим антропологию (человек есть мост), недоверие к поэзии станет для нас недоверием к истории. Общим историям, онтологической и антропологической.

Православной иудей Лев Исаакович Шестов в известном смысле пальцем в небо попал со своей книгой очерков **“На весах Иова”** и, ранее, **“Clavium Potestas”** – *“Аристотеля [...] его биограф называет “преувеличенно умеренным”. И точно, Аристотель был гением и несравненным певцом «всемства», т. е. середины и посредственности”*. Иными словами, Аристотель Стагирит оказал певцам-аэдам, сказителям эпоса и провозвестникам Второго Начала по Хайдеггеру, самой поэзии, неоценимую услугу. «Позволив» поэтам и впредь оставаться неподсудными и безнаказанными, презреть ответственность за ту порчу, которую наводили на бытие «среднячки»-философы и посредственные, заурядные представители этносов и культур. И это суждение, «много лгут» ни в кое случае не должно прочитываться как презрительно-броское, вызывающее, особенно на спор, «на слабо». Умеренный во всём Аристотель не любил, в отличие от дерзющего направо и налево Сократа (и прилежно записывавшего за ним Платона) полемик, в которых оказывался не на своём, отмерянном иерархией, месте. В невыгодном тактически и стратегически положении.

“Платон мне друг, но истина дороже” – известное ныне каждому суждение влечёт за собой и другое – *“Платон гнал взашей поэтов из своего обетованного полиса философов, оставлю-ка я их в своём, вот прямо ему назло, и потому, что врут умеючи”*. Мы полагаем, что не из одного этнокультурного самолюбия философ рекомендовал своему Македонскому воспитаннику взять в период интервенции на Ближний Восток почитать *“Илиаду”*, - то есть обыкновенное для поэтов «чтиво», - заснуть, осилив список кораблей ахейн до половины. В тот самый момент, когда суровая истина рукопашной бойни опротестует поэтику ратных подвигов Агамемнона и Диомеда, великомикенский и аргосский национализм прозвучит троекратным *“Αλαλή!”* (*“Ура!”* на аттическом) лжи, которой не бывает *много, не бывающей* избыточной и недостаточной. В том же контексте давайте помянем добрыми словосочетаниями Квинта Флакка Горация:

Живописцам равно и

поэтам

Все дерзать искони давалось полное право.

Знаем! и эту свободу просить и давать мы
согласны,

Но не с тем, чтобы дикое с кротким вязалось,
не с тем, чтоб

Сочетались со птицами змеи, с тиграми - агнцы. (Also sprach Horaz по А.А. Фету)

Продолжаем разговор на просёлочной дороге о мере и *меже*.

Именно Пребывающее, наперекор увлечению (Fortri), нужно привести к Стоянию; простое должно быть вырвано из путаницы, мера — поставлена во главу безмерного. Должно открыться то, что несет Сущее в целом и полностью над ним господствует. Бытие должно стать открытым, чтобы явилось Сущее.

<...>

Поэзия есть установление бытия посредством слова. То, что пребывает поэтому никогда не создается из преходящего. Простое никогда не позволяет выхватить себя непосредственно из запутанного. Мера не находится в безмерном. Мы никогда не найдем основу в бездне.

Можем разрешить себе и вам (впрочем, вам можно без спросу) уличить Хайдеггера и его переводчика заодно, в *путанице*. Не потому, что каждое суждение цитируемого выше абзаца о мере и безмерном приводит к апории, - парадоксами уже никого не удивишь, а некоторые находят в них, мягко говоря, прелесть. Запутывающие здесь – слова *“должно”*

и “нужно”, а также, - “никогда”. Общеизвестно, скорее всего, что открытие бытия приводит как раз к обратным результатам, - размеренное, вычисленное, многократно проверенное алгеброй гармоничное сущее, οὐσία не выдерживает контрастирующего с ним бытия. В том, что в эпоху Aufklärung сущее «нашло себя» тотально п[р]осчитанным, инертно следует из всех сочинений самого Хайдеггера против метафизики **за** фундаментальную онтологию; но откуда же, как не из европейской метафизики, Хайдеггер черпает свою систему измерений, числа и величины, *меру*? Евгений Торчинов однажды соорудил теоретический конструкт, постулирующий, что Хайдеггер был изрядно даосом, чуть более – конфуцианцем, но тщательно это скрывал; ведущие к тождеству феномена и ноумена, соития бытия и сущего в абсолюте азиатские идиомы Хайдеггера привлекали, но не настолько, чтобы поступиться над~ и под~ рывной, трагической нотой в онтологической истории. Ананке, фатум, судьба-злодейка в данной перспективе выступают в качестве палачей сущего, говорящими ему – «Напрасно ты считало себя безмерным бытием...».

Подчёркиваем крупно – для подобных умозаключений следует стать, по крайней мере, чем-то близким субъекту. То есть находиться в вертикальном положении, - откуда видны оба горизонта с утренним заревом и тьмой кромешной, и сумерки между ними, и полдень, и все прочие времена парадигмальных суток. Начинаем читать сочинения Гёльдерлина и находим, что ни малейшей субъективной *выделенности*, - тем самым, *лишённости*, в тех строках не содержится. Восторг и смятение, подавленность и воодушевление, незнакомые философствующим современникам Гёльдерлина, в поэзии становятся уже не изменой чувству меры, а самой безмерностью, - тот случай, когда изъять из синхронии осуществляемого онтологический аспект невозможно. Невозможно – потому что для этого сперва придётся «разотожествиться», вытянуться стрункой перед отвечающим ультимативно бытием, вопрошать и выпрашивать.

*Зайди же, солнце милое, внемлют ли
Они тебе? Им святость неведома,
Когда беспечно ты и тихо
Над озабоченными восходишь.*

*А для меня ты восходишь дружески,
И твой закат для меня озарение!
Я чту божественное чутько,
Дух мой тогда Диотима лечит*

*Своей любовью! Как солнце мне она,
Я внимал ей одной, и как сиял тогда
Мой взор и преданно и нежно,
Ей навстречу. И как шумели*

*Ручьи живые! Травы земли глухой
Каждым цветком ко мне ластились;
И в ясном небе, улыбаясь,
Благословлял меня Эфир свыше.*

Можно сколько угодно обвинять переводчиков Гёльдерлина в некомпетентности, и цитируемого выше Вячеслава Куприянова в том числе. К слову, в ряду транскрипторов нами замечено засилье пятого пункта, например - Апт Соломон Константинович, Голосовкер Яков Эммануилович, Луначарский Анатолий Васильевич, Минкус Рика (Рахиль Адольфовна), Ратгауз Грейнем Израилевич. В русском языке, как утверждает Александр Гельевич Дугин, явленность различия между сущим и бытием более

отчётлива, и мы затрудняемся вслед за Хайдеггером постулировать – вот-бытие, *dasein*, Гёльдерлином вопрошено и выхвачено в диаметральной антиномии онтики и онтологии. Выразимся и попроще, – для Хайдеггера в Гёльдерлине не было ничего архаического. Хайдеггер ассимилировал поэзию и то, из чего она происходит: и вопрос состоит не в заголовке эссе о Гёльдерлине, “в чём сущность поэзии”, а «в чём заключаются начала поэзии».

Именно «заключаются», константами и консистентными категориями. В ответ Хайдеггер рубит сплеча повторяемую им периодически директиву – «с диалога, с вопрошания». На основаниях прочтения стихотворений Гёльдерлина мы возражаем тому – поэзия началась с монолога и безмолвного одиночества, продолжилась – ответами, которым никто не внимает, что и к лучшему. Примитивная, от *primitivus* – первобытный, поэзия, космогонический или героический эпос, всегда сопровождается ремарками, сродни “дела давно минувших дней, преданья старины глубокой”. И развиваются как описание от третьестепенного действующего лица, ни во что не вмешивающегося наблюдателя, растворенного в сущем, развёртывающемся в отверстом бытии, и только под конец сказа не без ложной скромности добавляющего от себя – «...и я там был, браду в меду Суттунга пачкал». Вопрошание и должный якобы последовать за ним диалог появляются значительно позже, когда внезапно возомнивший себя автором человек принимается думать, – «что бы мне эдакого написать?» (прим. *Сторожа*: ничего не пиши!). Мотивация письма в данном случае не единственный симптом подступающего тошнотой забвения бытия, – оное случается, когда неожиданный автор начинает договаривать за тех и за теми, кто ему не отвечает и не возражает. Кстати, в контексте мифа об Асклепии неизбежна гипотеза: автору “Илиады” и “Одиссеи” было вполне «поделом», болтуну – находки для шпионов Иолдабаофа. Сравним с рассуждением самого Хайдеггера:

Но боги могут войти в слово лишь тогда, когда они сами запрашивают нас и ставят нас под свой Запрос. Слово, которое именует богов, – всегда ответ на такой запрос. Этот ответ возникает каждый раз из ответственности судьбы. Лишь когда боги заводят речь[*] о нашем Вот-бытии, мы впервые вступаем в область решения о том, понравимся ли мы богам или же окажемся несостоятельными перед ними.

[*] Примечание наше: с какого перепоя нам ждать таких великолепных отзывов?

Небольшой культурологический фрагмент: Русско-казахский исследователь античности Евгений Абдуллаев находит, что искусство диалога, полемики, диатрибы, то есть полемического памфлета, от Аттики до южных царств Ведической цивилизации блеснули последним лучом солнца в долгих сумерках деградации приблизительно в одно время: V век до нашей эры.

Платон в этом отношении был не один такой нехороший, – из Бактрии, Фригии, с родины буддизма, и, конечно же, семитических племён в рабстве у Ахеменидов – персидской династии, немногим раньше и несколько позже смерти врага собственного этнокультурного диспозитива # 1 исправно поставляли *breaking news* дезонтологизации. Чему поспособствовали завоевания тезки Гельевича Дутина, Македонского. В перспективах так называемого культурного обмена эллины оказались виновны пред бытием не в меньшей степени, чем возлюбленный Самаэлем народ. Горделивые афиняне, до Платона относившиеся к персам, да и в целом – азиатам, не щепетильнее современных «зоологических националистов» (корень *βάρ* – трясина, гиблое место *βάρβαρος* – негодяй, варвар – подлец по умолчанию) с изумлением обнаруживали, что «чурбаны» не чужды философии платоников и перипатетиков.

Хайдеггер, даже не будучи знакомым с «варварскими» учениями, наверняка не обошёл вниманием славословия Платона и Аристотеля персидской традиционной модели воспитания и организации *хозяйства*, – пусть и латентные, робкие, однако в “Государстве” и “Законах” Платона звучавшие упрёком изнеженным эллинам, выращаемым в тепличных условиях богатых семей. Таким образом, социализация, –

пульт управления парадигмой с множеством индикаторов и счётчиков, на котором нажатие кнопок запуска заняло полтора тысячелетия, - сдан в пользование, держайте. Разумеется, что криворукие в области τεχνη философы, не пошерстив мануалы, примутся осваивать интерфейс наугад, наивно полагая, что кривая парадигмы выведет сама. Хайдеггер был одним из немногих, кто не поленился прочесть инструкцию к эксплуатации, и ужаснуться тому, сколько успели напортачить предыдущие владельцы, непонятно чем заслужившее права «порулить». Как тут не счесть поэзию Гёльдерлина сотериологически значимым эксклюзивом, к тому же, заявившим, что напрасно некоторые с обожанием и почтением всматривались на восток, подлинная Утренняя Заря забрезжит не там, оплетённая саваном парадигмы планета вращается в противоестественном направлении, и где пробудит дремлющих без снов вкрадчивый рассвет, там ныне длится тревожная полночь.

Прочтём **“Возраст жизни”** в репрезентации Куприянова:

*Вы, города Евфрата!
И вы, Пальмиры переулки!
Вы, леса колонн, застывшие в пустыне,
Кто вы?
Где ваши кроны?
Вы перешли границу,
Положенную духу жизни,
Силы небесные оставили от вас
Только огонь и дым;
И я теперь под облаками, **здесь**
Где свой покой отмерян каждому, под
Благополучной сению дубов, где
Пасутся лани, и чужими
Мне кажутся и мертвыми
Благие духи.*

Вернёмся к исходному тезису о субъекте. В чём фундаментальное различие модальности восприятия традиционного индивида и субъекта Нового Времени? Прежде всего, в том, что индивид под различными предложениями отказывается от руководящей и артикулирующей диалогизирующей «хор» бытия роли. Представляющий индивида традиции поэт вступает в спор, или обмен лестными репликами не *постановляя* «себя», а выразив отношение между бытием и сущим, протоколируя их.

Индивид недвижим и безмолвствует, субъект – говорлив и динамичен. Мы скорее признаем субъекта в Велемире Хлебникове, - убедительно, влекуще пишущего «Туда, туда, где...» - каждый знаменует, означает и полагает собой центр, точку пересечения дивергентных траекторий становления. Гёльдерлин же ловким, точным штрихом намечает по-становляющее начало и тут же врисовывает его в транспарадигмальный круг, в некое существенное имманентное окружение, в вещный мир явленного в безраздельном с бытием сущего. Мелькнула субъектность, требующая понятного даже позитивисту проговаривания истины, и сразу же скрылась в области тягостных сумерек расстроенного сознания, когда отходящий ко сну разум берemen чудовищами.

И порождает их. Хайдеггер прямо называет стихотворение **“В ласковой синеве”** чудовищным. Немудрено заметить, почему – худшие опасения насчёт логоцентризма подтвердились, закреплены в памяти травматические опыты и фрустрации, горнее знание наказуемо и вообще нам решительные кранты, - лучшие из тех, на кого европеец возлагал высшие надежды и отвечавшие его взыскательным вкусам не выдерживали испытаний собственным предназначением.

А предназначение, предначертание Гёльдерлина, в нашей оптике, менее всего соответствовало чаяниям Хайдеггера. Мы можем согласиться с суждением, что, посредством диалога с богами, ведающими первичное бытие, вещающими на своём языке бытие, Гёльдерлин мог передать его неким доступным образом: мистериально-дистрибутивная функция поэзии известна с незапамятных времён Орфея. Тем не менее, этот фундаментальный функционал подразумевает абсолютно различную с современной и Гёльдерлину, и Хайдеггеру картину мироздания, теогонию, теологию и космогенез. Но в данный момент не будем дальше~пуще экстраполировать анамнез в этом направлении. Добавим только, что читателю остаётся лишь разорваться между двумя полярными перспективами последовательного узнавания, - или посчитать Хайдеггера несвойственно ему самому переоценившим поэзию Иоганна Христиана Фридриха, или принуждать себя не заметить специфической хайдеггерианской терминологии со всеми про-исходящими из неё смыслами. И всё же...

*Если ж я в доме моем, где деревья в окно шелестят мне,
Где играют лучи с ветерком, о жизни людей земнородных
Две-три бессмертных страницы на радость тебе прочитаю:
"Жизнь! О жизнь земли! Ты подобна священному лесу!"
Молвлю я: "Пусть тебя топором, кто хочет, равняет,
Счастлив я жизнью в тебе!"*

(“Досуг” пер. Евгения Садовского)

В предварительных итогах складывается впечатление – за очень редким исключением, Хайдеггера весьма и весьма интересовали отрицатели, - те, кто послужил неверием и кривдой забвению бытия. Рождавшихся непредсказуемым образом архаиков в современной ситуации, Хайдеггер не замечал, или ставил их в неловкое положение подчёркивающих катастрофическую ситуацию. Гёльдерлин, по *существу*, интересен Хайдеггеру не своими мистическими озарениями, Хайдеггеру был остро необходим некто, кто может спросить бытие за него. Гёльдерлин же, для которого высшей похвалой и достойной его критикой было бы признание *генеалогии*, а именно, статуса манифестации потомка Гелиоса, всю свою творческую жизнь руководствовался обыкновенным для традиционного индивида принципом: не спрашивая – знать, сочиняя – не исказить. Искажением как раз, становится по-станова вопроса, даже самым прямолинейным, однонаправлено верным образом; бытие подменяется сущим всякий раз, когда язык, особенно, в катафатике устной и письменной речи, предоставляет ему возможность осуществиться в предикате «есть ли..?».

Завершая тему химерической субъектности, упомянем давнее открытие филологов: в греческом языке, необходимом для обращения должным образом и к Гёльдерлину, и к Хайдеггеру, важнейшая форма онтологического вопрошания привела к деперсонификации, к устранению *дати́ва*. Sic, на протяжении постклассического периода развития языка полностью утраченным оказался только дательный падеж. В современном греческом языке всего несколько слов сохранили полную четырехпадежную систему; в преобладающей модели склонения формы номинатива, аккузатива и вокатива совпадают, отличается лишь форма генитива. На синтаксическом уровне это означает, что функциональные различия между омонимичными падежами передаются средствами порядка слов в предложении, окончаниями сопутствующих артиклей, предлогами или, в случае вокатива, отсутствием артикля. Переведём в обыденных суждениях – в греческом языке, известном нам и пригодном для выражения со-временного же мышления ответ на вопрос «кому?» и «чему?» прямо зависим от контекста – кто и в какой последовательности к кому обращается. Для того, чтобы задать вопрос правильным образом, так, чтобы отозвались сперва отвечают на вопрос самому себе «Кто - кому?». Из последнего компонента про-исходят все последующие с

главенствующим в настоящее время “зачем?”. Любое вопрошание, так или иначе, приводит нас к необходимости идентификации и идентичности.

Итак, *Кто* – Гёльдерлин? Данный вопрос не въедается в тучные поля филологии, философии и других гуманитарных дисциплин – там уже всё оборонено, засеяно, удобрено, возвращено и ждёт жатвы (к слову, εἴναι переводится также как «всходы»), – насколько будет ядовит выпеченный хлеб из этой «ржи», пишет и сам Хайдеггер. Но другой антропологической эпистемы для него не существует, человек оказывается заброшен в бытие, сперва поёрзав в сущем, когда нити его онтологической генеалогии уже оборваны. Актуальна только креационистская доктрина о свободе воли и свободе вообще, приведшая человека в состояние от-броса, заброшенности бытием, – одним пассивным забвением не обошлось. Тем более, что вопрошание тут же налагает на существо непомерную для него, перманентно ощущаемую, ответственность. Оно и абсолютно закономерно: мир возникает из говорения, про-говариваясь – про-является.

Кто есть человек? Тот, кто *должен* свидетельствовать о том, что он есть. Свидетельствование означает, во-первых, выказывание (Bekunden); но в то же время подразумевается: “в выказывании ручаться за выказываемое”. Человек есть тот, кто он есть, именно в свидетельствовании собственного Вот-бытия (Dasein). Это свидетельствование означает здесь не некое запоздалое и случайно протекающее выражение человеческого бытия, напротив, оно *участвует* в выработке вот-бытия человека. Но о чем человек должен свидетельствовать?

Курсив наш

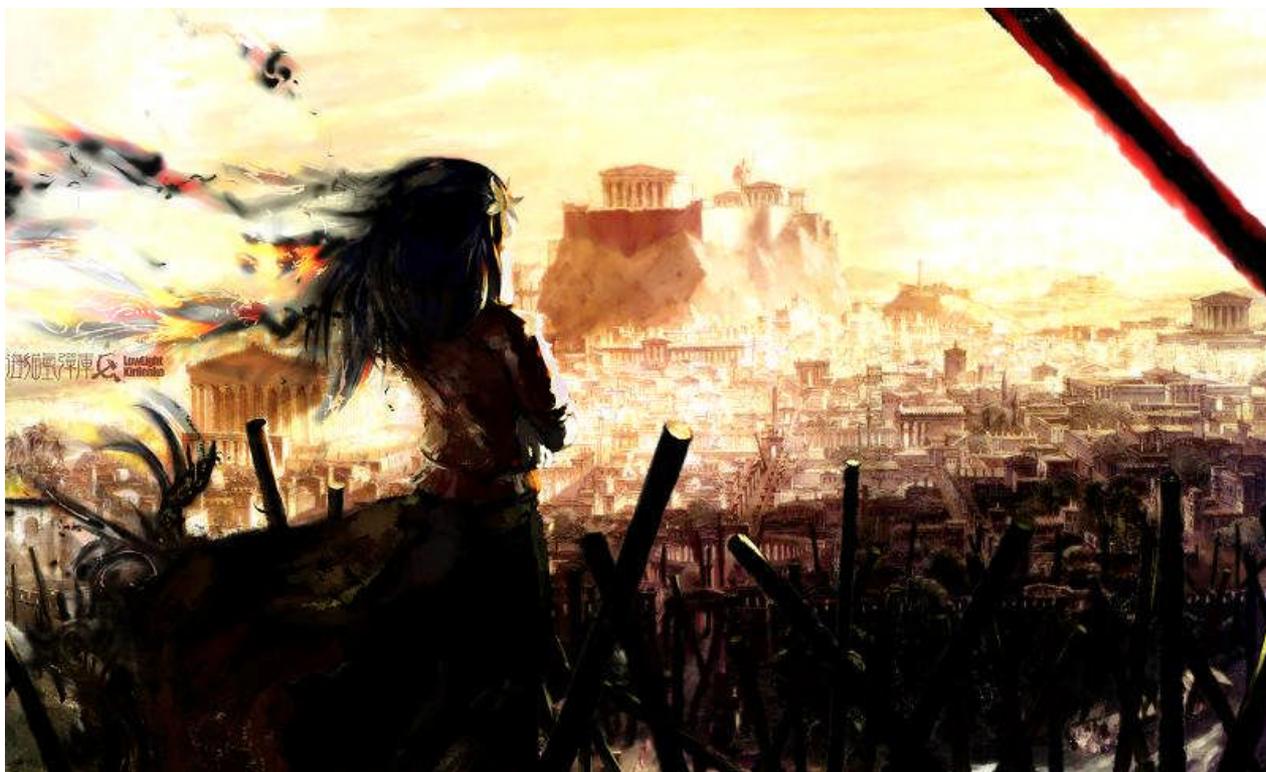
Хайдеггер, по большому счёту, отвечает на первый в этом тредке вопрос «кто?» в манере диалектической метафизики: *поэт, сочиняющий сущность поэзии*. Далее мы прочитываем конспективное изложение “**Sein und Zeit**”, из чего диалектически же следует: Гёльдерлин – всё тот же *вопрошающий*, и *свидетельствующий* тому, что ему отозвались. Но – кто? По Хайдеггеру «случается», словно неуловимое «кто» заменено на детерминировано «что», а именно, Гёльдерлин свидетельствует поэзией о самом себе, моделирует, посредством поэзии – *себя, человека*.

Подытоживая первую часть донесения: Архаика, случавшаяся доньше, подобно редкому вирусному заболеванию – состояние до-мирая, к которому лучше не возвращаться, больше никогда. В ней нет ни безразличного [*das Gleichgultige*] гомона, ни внятного произношения, – ни-что не свидетельствует, не о чем свидетельствовать, *почти некого* спросить. Точнее, катафатика по всем эти вопросам смущённо молчит. А когда пожалели, что не утруждали себя свидетельствами (тут возникнет вопрос, – почему это Гесиод о своих “**Теогонией**”, “**Трудами и днями**” и прочим всем оказался «мимо» Хайдеггера) – стало поздно. Но когда это случилось с рекордным [*nota bene: record* – запись, т.е. катафатический прецедент] опережением, или, хотя бы, без фатального опоздания? А никогда. Поспешает только персона малого сотера, – Асклепия, возражающая предопределённости, в течении двух с лихвой тысячелетий твердившая – “Нет, ты не должен умирать, не должен умереть”, – согласно мифу о спасении царя Иполлита, сына Тесея и Антиопы в пересказе Павсания.

Не должен и возродиться, кабы чего не натворить. Велик соблазн повторить[ся], потому что – *исторично*. Читая импровизированные конспекты лекции Александра Гельевича Дугина в книге “**Мартин Хайдеггер и философия Второго Начала**” убеждаемся нелишний раз в том, что вся забота о бытии Хайдеггера заключена в запоздалом предупреждении. Вами уже слышанном, скорее всего. Известном, ах, какое упущение, ещё до Платона – “*Смерть - все, что мы видим, когда бодрствуем, а все, что мы видим, когда спим, есть сон*” [Гераклит Эфесский].

Ни в чём не обвиняя Хайдеггера, как и всякого европейца, не способного без неутолимой печали оглянуться на своё прошлое, критически заметим – на том, что гуманитарная бестолочь назвала «фашизмом» для него всё и завершается. Для нас это слишком напоминает соловьёвский софизм – “история имеет смысл лишь когда может быть закончена”. И тут Хайдеггер в довольно грозных тонах остужает эсхатологический пыл, - амбивалентное перманентному умиранию, заместившему подлинную смерть, забвение бытия, симптомом которого становится разрушение под видом косметического ремонта – дома онтологии, языка, отучило европейцев что-либо завершать. Двадцать пять веков философии, - практически нескончаемое повествование, бесконечный роман, где предостаточно цепких подробностей, всегда служащих бдительными Сторожами, на все вопросы отвечающими «Всегда живые». - *Сторож, сколько ночи? – Что ж тебе всё неймётся, бл., уже две тыщи раз сказал...!*

С.Н.Р.Т.С., мы не прощаем



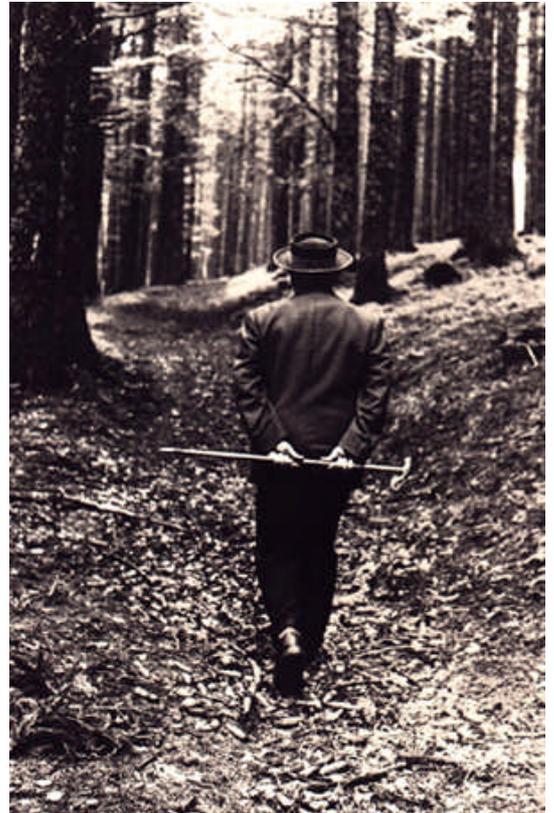
К ЧЕМУ ХАЙДЕГГЕР?

Опыт прочтения

I.

Итак, опыт прочтения прочтения: как говорится, к чему Деррида в скудные времена? – К деконструкции. Ну а если, кроме анекдотов про французских философов (не)алжирского происхождения, к чему нам Хайдеггер?

Отталкиваясь предлагаю от ответа на гёльдерлиновский вопрос «К чему поэты в скудные времена?», который Хайдеггер, необычайно для своей манеры, в целом даёт (постулирует) для дальнейшего раскрытия на второй же странице одноименного эссе: *«Мировая эпоха, у которой нет основания, подвешена в бездне. Представить себе, что в скудные времена еще возможен поворот, мы можем, только если допустить, что мир снова коснется основания, но это значит, что изменение курса возможно, исключительно отправляясь от бездны. В мировую эпоху ночи мира ночь мира должна быть испытана и выставлена на созерцание. Для этого необходимы те, кто достигнет дна бездны»* (М. Хайдеггер. К чему поэты? – пер. А. Дугина, М., 2010). Итак, в ночи мира, где стираются уже не следы богов, но следы этих следов, в падении, подвешивающем человека в бездне, те, «кто рискует на один вздох больше», те, кто рискует больше сущего и достигает *дна безосновности* быстрее всех, то есть собственно поэты приуготавливают место, в которое может прийти поворот или Новое Начало. Причем, история поэзии разделена на две части – до Гёльдерлина и после него, подобно тому, как история философии (а так же история Забвения Бытия и история белого человечества) расколота «имевшим достаточно для того сил» Фридрихом Ницше (см. его письмо к А. Стриндбергу от 7 декабря 1888 г.), а может быть, даже еще более сильным, чем ему представлялось, поскольку вторая часть, в отличие от первой, больше похожа не на часть, а на не-совокупный объём осколков и частиц. Несомненно, Гёльдерлин и Ницше рисковали больше сущего, достигли обозначенного безумием глубиннейшего рубежа и носили в себе не только свою пустыню, но и наши. Подобно тому, как, по Хайдеггеру, никто из поэтов скудного времени не превзойдет Гёльдерлина, поскольку тот является их предшественником, то есть «пре-бывает с-бывшимся» и собран в их судьбе, подобно этому все мыслители после Ницше разворачивают их заранее-приуготовленность, дописывая, позволим себе заявить, его недописанную и недописываемую «Волю к власти». Как заявил один симпатичный испанский доктор философии, имени коего не упомянуть, они вынуждены иметь дело со смытым горизонтом. Другой вопрос – насколько это дело обреченное.



Волнующая нас проблема отношения (в т.ч. в смысле «bezug») Хайдеггера к Ницше, конечно, выходит за рамки этого письма, однако не можем не заметить их сущностного

единодушия в вопросе риска, ключевом вопросе темы. Как-то мы писали, что падение есть единственная возможность полета для человеческого существа. И сейчас мы можем вспомнить этот тезис, разве что, присовокупив к нему уточнение: «по крайней мере, со времен эллинской философии, когда это существо то ли слишком сильно, то ли недостаточно разбежалось для своего прыжка (Sprung) над бездной». Человек падает в риск. Точнее говоря, Бытие, как риск по преимуществу, отпуская сущее, рискует человеком. Наверное, стоит оговориться, что Хайдеггер говорит здесь, деконструируя Рильке, в рамках метафизики. Тем не менее, мы отчетливо слышим ницшевскую *Amor Fatī* и благородную любовь к несправедливости. Риск владеет тем, что брошено в опасность. Риск владеет человеческим существом, и дело последнего, по-хорошему, исполнять инструкции этой инстанции, а не бежать в страхе (Furcht). Играть в игру, в которую существо инициируется риском. Хайдеггер цитирует общего для них с Ницше отпавшего мыслителя Гераклита: «Время мира – это ребенок, играющий в кости; игра ребенка – господство», уточняя, что безопасное бросание не содержит в себе риска, а стало быть, и не вводит ни в какую игру. И тут, если мы вспомним Четверицу из других работ мыслителя, мы увидим, что играющие со *смертными богами* играют на *Земле* и на *Небе*, следом вспомнив концепцию двух столов игры у Ницше: стола Небес и стола Земли. Игра в качестве игры в кости, которые метают на Земле, а читают на Небе, у Ницше подчеркивает трансмутацию низкого в высокое, подобно тому, как смех превращает мучения в радость, а танец обращает тяжелое в легкое.

Вовсе не Хайдеггер пересказывает нам Ницше, а скорее Ницше объясняет, как хайдеггерское Бытие, перечеркнутое *единобытийной* (в отличие от *единосущной* Троицы христианства) Четверицей, осуществляет свое постоянное «между»: боги бросают кости на стол Земли, а выпадают они не столе Небес. Так утверждается случайность, содержащая риск. Случайность, «невинная как малое дитя» [Гераклита], и есть судьба, необходимость (и, таким образом, есть Посыл – *Geschick*). Заратустра Ницше требует: «допустите меня до случайности» - это же требование рискующего поэта у Хайдеггера. Молния, то есть то, что *между* Небом и Землей, молния как Логос Гераклита, молния Первого Начала, выпадает мыслителю и поэту как Судьба (выпадает до тех пор, пока не опадает – с петлиц черной униформы). Помните, возможно, из переведенного мной «Ницше» Стефана Георге:

*«Где стена, что Громовержца окружила,
одного во средоточье пыли?
Облака тяжелые проплыли.
Мертвый город вспьшек не услышал,
копотью слепой взирая в спину.
Ты песок из рук на город выжал
и ушел от долгой ночи – к самой длинной».*

По Ницше в этой «самой длинной ночи» нужно уметь играть, по Хайдеггеру рисковать «на одно дыханье больше», обгонять Люцифера («достигнуть дна бездны быстрее Ангела»). Уметь играть – значит уметь утверждать случайность, «смеяться над риском». Если Бытие как всегда-бытие-сущего есть единство множественного, то, как же иначе вопрошать это Бытие (*Seinsfrage*), как не Игрой? Умеющий играть не играет ради выигрыша, играет ради игры и способен посмеяться над неудачным броском (даже над столько неудачным, что, в конце концов, без всяких молний рушатся все соборы и замки Абендланда – способны ли мы посмеяться здесь?). Желание выиграть во что бы то ни стало по Ницше проистекает из нечистой совести. Это подлое, рабское желание. Однако, в игре божественных и смертных, последние, похоже, могут «выиграть» (особенно, при коллаборации с титаническим началом). Смертные выигрывают, все больше опешеляются, укрываясь от риска; богам надоедает и они улетучиваются. Пока это

происходит, Гёльдерлин видит знак беды. Вытолкнутый смертными риск копится где-то рядом, и Гёльдерлин должен нырнуть в него с головой...

«Неудачный бросок» - это Беда (Unheil), предвещаемая падением на столе Земли и выпадением на столе Небес тревожных рун. Unheil с немецкого не только «Беда», но также «Неудача», «Несвятость», «Неблаго». Скучные времена это и есть Unheil. Подчеркнутой Александром Дугиным (в сносках) формулой Хайдеггер снова вторит Ницше, правда, совсем не в ницшевской манере: «Unheil als Unheil spurt uns das Heile. Heiles erwinkt rufend das Heilige. Heiliges bindet das Goettliche. Goettliches naehert den Gott» («Несчастье как беда нащупывает нам след блага. Благо дает намек, призывая священное. Священное связывает с божественным. Божественное сближает с Богом»). *«Не вероятность, распределенная на несколько попыток, но всякая случайность однократного броска; не конечное сочетание выпавших костей, - желанное, требуемое, желательное – но роковое и любимое сочетание, amor fati; не возвращение некоторого сочетания с помощью определенного числа бросков, но повторение броска игральных костей в силу природы фатально выпавшего числа»*, - резюмирует учение Ницше о броске игральных костей Жиль Делёз ([Жиль Делёз. Ницше и философия. Пер. с франц. О. Хомы под ред. Б. Скуратова, «Ад Маргинем», 2003.](#)).

Теперь, однако, необходимо разобраться, что это за риск, о котором говорит Хайдеггер. Это такой риск, говорит он, вне которого сущее было бы защищено и укрыто («schützen» в немецком родственно «schießen» - «быстро расти» и «стрелять»). Незащищенные рискуют. Хайдеггер, конечно, не удовольствуется такой поверхностной констатацией и стремится проникнуть в существо игры: будь люди (и другие сущие) совершенно оставлены в своей незащищенности, говорит он, ими бы рисковали столь же мало, сколь рисковали бы, будь они абсолютно защищенными. Сохраняется божественная интрига, в ходе которой *сущие* подвешены. Эта подвешенность (на весах, но (не) будет вольностью сказать и «подвешенность над бездной», «зависнутость в прыжке») несет не укрытых в риске, и в этой несомости они суть волимые и волящие как рискующие и отваживающиеся. Такова безопасность неукрытого, обеспеченность незащищенного, похожая, как нам думается на безмятежность традиционного человека посреди ночи (бездны, жизни, чрева чудовища), для нас, конечно вовсе не самоочевидная, а скорее полагаемая как находящаяся в волеии. Такой риск и такая воля придают вес висящему и весящему сущему. Здесь уместно отвлечься от «К чему поэты» и вспомнить «Бытие и Время» и важный хайдеггеровский концепт «Erschlossenheit – Entschlossenheit» (Открытость – Решительность). То самое Entschlossenheit, которое так не нравится бурдющему (не в качестве дионисийского напитка в бурдюке, а в качестве старого пуганого гуманиста) Пьеру Бурдые, в лице которого либеральный Das Man пугается свободного, отчаянного и решительного вызова экзистенциальным границам, «который столь же отчетливо противопоставляется как рациональному размышлению, так и диалектическому снятию». Рациональное размышление и диалектическое снятие, конечно, тоже кое к чему способны: висящее сущее может, благодаря им, висеть еще очень долго, но весить оно, при этом будет все меньше и меньше. Оно будет экзистировать (как грешник на судных весах) в режиме Двусмысленности, Любопытства и Болтовни (Zweideutlichkeit, Neugier, Gerede). Это те состояния, в которые впадают (Verfallen) онтические экзистенциалы Находимость, Понимание, Речь (Befindlichkeit, Verstehen, Rede), выходя из онтической сферы Открытости, Разомкнутости – «первосознания» Erschlossenheit. Любимое Хайдеггером «Er» в Erschlossenheit отсылает нас к старому стилю, намекает на первобытное, а так же даёт с корнем и суффиксом понять, как в дофилософские времена происходило схватывание разомкнутой готовой истины сущего. Находимость, Понимание и Речь в онтические времена высветили(сь) молниеносным Логосом, дав начало философии и истории через Открытость, оставив ее бытию мифа. Они же могут через поворот Вот-Бытия к самому себе из Ужаса,

Набрасывания (наброска бытия-к-смерти) и Умолкания (Angst, Entwerfen, Verschwiegenheit) произвести упомянутую Решительность (Entschlossenheit) пред лицом ни с чем не соотносимой, никак неотвратимой, неопределяемой, но известной и самой себе принадлежащей Смерти.

Хотя и не решительно (отсутствовало Умолкание) нам в определенный момент стало понятно (или, говоря хайдеггериански, известно) что именно «Смерть – есть гарантия моей безопасности». Явившийся тогда Ужас сделал этот набросок как заявление. Отсутствовавшее Умолкание, что интересно и иронично так же в связи с тем, что мы размышляем тут о поэзии и поэтическом, сделало возможным определенное затирание «экзистенциального опыта» Болтовней etc., однако постулат остался данным: «Смерть – есть гарантия моей безопасности. Прекрасное – есть гарантия моей жизни». Жизнь мы здесь понимаем как дорогу, воление, розыски и обнаружение этого воления. Это отступление в стиле Гиппонского Епископа мы делаем не только для того, чтобы перейти к теме Смерти, но и с тем умыслом, что бы подчеркнуть задачу опыта прочтения, которую коротко и ясно сформулировал сам Хайдеггер: «Настоящее чтение – это собирание ради того, что уже и помимо нашего ведения приняло наше существо в свой требовательный зов, соответствуем ли мы ему или оказываемся несостоятельными» (М. Хайдеггер, **Что значит читать?** – пер. с нем. Михайлова А.В., Мск., 2008).

Итак, человек как сущее становится перед миром и *перед* Смертью. В последнем случае он способен обнаружить Бытие-к-Смерти, подвигающее Решительность забежать вперед себя (vorlaufende Entschlossenheit). Почему «перед»? Такова судьба и сущностная особенность человека. Уже в онтическом он погружен в Открытость или Разомкнутость (Erschlossenheit), чего не бывает с другими сущими. Животные и растения не стоят перед миром, который может быть открыт им или закрыт, отомкнут или разомкнут. Животные и растения, таким образом, говорят на другом своем языке, который, впрочем, может быть внят и понят человеком, но только в том случае, если последнему удастся (здесь уже совсем не в волевом смысле) инициатически погрузиться глубже онтического – «язык птиц», тема оборотничества etc. Человек же обречен постепенно исключаться из мира. Так он становится сознательным существом, так он становится особым сущим, враждебным и разрушительным по отношению к другим сущим, в конце концов – эксплуататором всего сущего, уже не просто стоящим перед чем-то, но ставящим перед собой бесконечное нагромождение предметов, а далее – симулякров или «муляжей жизни» по выражению Рильке, которого цитирует Хайдеггер. Человек неаутентичного Дазайна, т.е. такого Вот-Бытия, которое отворачивается от Смерти и от Бытия-к-Смерти, стремится загроздить окружающее предметностью, осуществляя сущность технического начала. Он занимается «преднамеренным самонавязыванием». Однако тем самым он движется к сумеркам человечества, к скудным временам, к смерти человеческого, являющей себя уже из смертоносной машинерии. Но, как правило, не замечает этого либо полагает угрозу преходящей. Но угроза, затрагивающая саму сущность человеческого отношения к Бытию, есть угроза по преимуществу, есть судьбоносная угроза, сокрытая для сущего в бездне. Однако, спасение, пишет Хайдеггер, может исходить только из этого корня, иначе все попытки останутся в сфере несчастья (Unheil). Совлечение в эту бездну – фундаментальный риск. Чтобы схватить корни угрозы, нужно проникнуть в эту бездну, то есть под основу, в безосновность всего сущего и в бытие этой безосновности, которое есть ничто. Это риск, который больше риска – задача тех, кто должен обогнать в падении Ангела.

На этом месте Хайдеггер задается важным вопросом: *«Если человек есть то, чем рискуют, и движется вместе с риском, желая его, люди, которые рискуют еще больше, должны быть еще более волящими, желающими. Но может ли воление подняться над безусловностью преднамеренного самонавязывания?»*. «Нет, - отвечает

себе Хайдеггер и продолжает. – *Значит, те, кто рискуют больше, могут быть «волящими больше» только в том смысле, что их воление в своей сущности является иным. Волишь и волишь – это не одно и то же. Те, кто являются более волящими, исходя из сущности воления, остаются более соответствующими воле как бытию сущего. Они больше отвечают бытию, которое проявляет себя как воля. Они более волящие в той мере, в какой они более согласные».* «Подчиняться есть добродетель господ», - говорит Ницше, имея ввиду строгое подчинение господина себе в иерархии воли. Принято считать, что Хайдеггер списал со счета постфилософии фигуру Сверхчеловека Ницше как апофеоз агрессивного самонавязывания, как апогей метафизики. Хайдеггерская экзегетика Ницше еще требует пристального изучения, а пока мы слышим из отрывка, что воля воле рознь: «Волишь и волишь – это не одно и то же». Воля Сверхчеловека выдерживает взгляд Бездны. Его дух парит в ней, как орел над пропастью. Проникая своим зрением все глубже. Это поэтический дух (каковой только и мог родиться от Фридриха Ницше, философа-поэта и жреца Диониса). Хайдеггер говорит, что эти «более волящие» - это поэты. Разумеется, под поэтами тут никто не понимает всех, просто умеющих слагать стихи – это чисто операционная характеристика, не имеющая отношения к поэту как хранителю Дома Бытия.

Более того, говоря о поэтах вообще, стоит делать разницу между поэтами эпохи традиции и поэтами скудных времен. Строго говоря, в премодерне есть не столько поэты, сколько поэзия (да, и нам представляется закономерным и гераклитовский гнев на Гомера, и божественное проклятие на зарвавшегося Тамириса). Потом не то, чтобы поэзии нет вообще, а поэты есть, но они есть в той степени, в которой поэзия *еще* есть. То есть они, поэты скудных времен, есть в той степени, в какой их как субъектных поэтов нет – благодаря их полупогруженности в еще-поэзию. Тут мы снова процитируем то ваше раннее письмо, где вы, говоря о маргиналах, как нам кажется, высказываете родственную мысль: «Рудимент сакрального у тех, кто считает себя маргиналами не в том, что т.н. маргиналы с большей эффектностью оперируют языком Предания и соответствующей атрибуцией, а в том, что они совершенно несамостоятельные существа; рассматривать их вне парадигмы и определённой социокультурной ситуации вместе с имманентной религией, экономическими условиями и т.д. невозможно. Таким образом, в любом обществе постмодерн еще не состоялся, покуда не истреблены подчистую и так реликтовые настоящие сатанисты-телемиты-гностики, а так же няшные коттики-расисты, если они не вымерли сами».

Как же поэт, шире говоря адепт Бытия (по крайней мере, у Хайдеггера он таков), причастный к Дому Бытия (к языку и его глубине) поэт может существовать в скудные времена? Поэзию как связь с божественным (божественное для фундаменталь-онтологии Хайдеггера не находится в другом мире, оно не метафизично; божественные на своих легких ногах обитают в бытии сущего) Хайдеггер постулировал во многих работах. В очерке **«Жительствование человека»** Хайдеггер тонко разбирает строки все того же Гельдерлина, назвавшего в наброске к одному стиху звезды «поэтическими сверстниками». Поэтическое оказывается соразмерно древнему, былому и вечному – небожителям и звездам. Поэтическое берет исток в изначалье, и, в сущности, оно не имеет авторства. Оно сопряжено с гораздо более глубоким и древним, чем даже самый первоначальный набросок какой-либо субъектности. Вероятно, поэтическое имеет ключи от далеких и секретных комнат Дома Бытия. Скорее всего, эти ключи – тропы и фигуры речи, открывающие под-логосный, пред-логичный пласт Языка, - ключи от Рая и ключи от Бездны.

Как есть адепт сейчас? Божественные давно ушли, простыли не только их следы, но и следы следов вот-вот испарятся под носом самых чутких. Бог умер. Ценности разбиты. Воспевать, в принципе, нечего. Служить некому. Со стихиями тоже не поговоришь –

минули дни Разомкнутости, и воспоминания о них самих тоже стираются. Исчезла прозрачность мира, пропали все основы и оси, рассыпан язык, закончилась история. И что делает поэт и адепт, обреченный быть в бесконечной и тотальной мультициркуляции муляжей вещи, что он делает в победившем нигилизме и деградансе, как он тут есть? Тем более, что бежать в эскапизм апостасийных времен он не может, ибо тогда прекратит соревноваться с Ангелом в падении, подвесится на новом мостике вместо того, чтобы лететь в бесосновное – по Ницше такой поэт или такой мыслитель станет «только красочным *изображением* всего того, во что когда-то верили». Такой поэт не будет теофоретом; он будет фигурой, *безвозвратно* выпавшей из невидимой, но идущей сквозь времена процессии Диониса, фигурой, слепо посягающей на безвременье, изображением ушедшего и невидимого оригинала. Хайдеггер в своем эссе говорит только, что поэт тут, в скудные времена, *есть*, есть перед лицом Смерти, представлен Бытию-к-смерти и рискует больше того риска, который несет человека во времени и в сущем в принципе, осуществляя проникновение в бесосновности (в «бездноватости»). И больше ничего не говорит. Рискнем сказать мы, опираясь уже на «Кодекс Закрытого Глаза».

Логика Аристотеля, родившаяся из уже отдаленного и исказившегося к тому времени отсвета мелькнувшей некогда молнии гераклитовского Логоса, на протяжении веков определяла мышление и фундировала опредмечивающее самонавязывание. Однако к началу постистории логика рассеяла самое себя, отправив к анти-отцам и прижитых ею на историческом пути от разных англичан и французов детей (таких как «субъект» и «объект»). Это произошло во второй половине расколотой Фридрихом Ницше истории: логика рассыпалась на логемы, в ней уже не возможно различить никакого следа Логоса. Так лопнула сомнительная и тонкая пленка, яблочная кожура дисциплины разума, натянутая над бездной. Бездна предстает теперь в более откровенном виде. Один из законов логики, закон тождества, также не является более законом. Ничего больше не принадлежит себе, ничего себе не тождественно: гипноз модерна спал, не обнаружив, правда, за собой пространства премодерна. Отнюдь – разорванная скиния открыла только бесконечное складчатое тело бездны, на котором нет никаких следов возвращения божественных. Из шевелящихся и скользящих складок могут вырываться только кратковременные муляжи богов, культов, духа, муляжи вещей, муляжи людского. В обреченности на тотальную симуляцию, таким образом, есть только одна возможность делания – симуляция симуляции. В освобождении от логики скрывается возможность денегации. Различение неразличимого видит Бездну, как ее видел Ницше, Бездну *сколь покрывающую, столь и открывающую*. Знак более не самотождественен, не принадлежит себе, во всяком случае, тому «себе», который понимался как полная самотождественность. Хайдеггер сам следом за Ницше говорит об Истине как о Не-истине, которая всегда открывая – скрывает: «Die Wahrheit ist Un-Wahrheit, insofern zu ihr der Herkunftsbereich des Noch-nicht-(des Un-)Ent-borgenen im Sinne der Verbergung gehört. In der Un-verborgenheit als Wahrheit west zugleich das andere “Un-“ eines zwiefachen Verwehrens. Die Wahrheit west als solche im Gegeneinander von Lichtung und zwiefacher Verbergung» («Истина есть неистинна – постольку, поскольку ей принадлежит область еще не раскрытого – неоткровенного. В несокрытии-истине бытийствует и другое «нет» - двоякое недопускание-запрет. Как таковая истина бытийствует в противостоянии просветления и двоякого сокрытия», М. Хайдеггер, Исток художественного творения. Пер. с нем. А.В. Михайлова, Мск., 2008 г.). Ницше в свое время выразил мысль в манере изящного укуса: «Всякая истина однозначна – не двужначна ли эта ложь?». Еще до сколько-нибудь углубленного погружения в логос философии мы, как вы знаете, открыли для себя «лже-ложь», действуя почти эмпирически – то есть вслепую: это, конечно, ценно не в качестве автономного авторства, которое как таковое может быть только утешительной иллюзией мелких духом, но как свидетельство действительного шагания по тропинкам Лукоморья с Котом Учёным в качестве даймона и компаньона.

Переходя к дальнейшему, мы хотели бы заметить, что лже-ложь, несмотря на ныне приоткрывающуюся порнографию складок бездны, не может быть поставлена в заслугу постистории. Так же как и деконструкцию, ее можно отыскать, пошерстив книги, еще до Нового Времени. Например в той же тавтологии божественного аутономена («Аз есмь Сый»), который, к Слову и в полемику хоругвеносному традиционализму сказать, на латыни звучит к Бытию ближе, чем на греческом и на церковно-славянском (из-за рекурсии «есть-есть» без упоминания сущего: Ego sum qui sum). Или в омонимии живописного искусства, которая без иконографии, включающей в себя более широкий набор фигур и тропов, простирается на христианском Западе до самых горних высот онтологии. А Майстер Экхарт и вовсе щедр на выражения типа «обладание без обладания», «бытие без бытия», «Бог - не не Благо», «Бог – не не Истина» и другие, пошедшие их эквивокативного исхода по *via eminentia*, и, между прочим, столь похожие на «рискующий риск» или «воление иначе воления» Мартина Хайдеггера, что невольно начинаешь задумываться о проблематичном статусе метафизики и подозрительности ее бесконечного конца.

Поскольку истина как твердая правда осталась в преодоленной метафизике, нынешнее указание может быть произведено в диапазоне между ложью и лже-ложью. *Лгание Лже-лжи и есть обозначение нетождественного себе Знака, причем, сеть обозначений, оплавающаяся в саму себя, возгоняет свое существо до трансгрессии.* Симуляция симуляции играет в то, что играет; она вооружается рекурсией. Это не сбивчивое мышление, не модный эксперимент. Это мышление после мышления.

Играющий в Игру – это трикстер, носящий погоны Бездны. Трикстер – единственное сущее, способное обнаруживать божественное тогда, когда нет уже следов следов. Трикстер умеет быть с Бездной, быть в Бездне, осуществляя при этом бытие своего сущего. Его дорожки бегут и через профанное, он способен отлучиться во мглу, трикстера чтут на перекрестках. Он достаточно мал и достаточно тяжел, чтобы вместиться в ход человеческого побега от риска, который претит богам, и достаточно хитёр, чтобы обхитрить этот ход, обхитрив самое себя. Трикстер и есть та принципиальная позиция, которая остается адепту в конце скудных времен. Если поэт – трикстер (служит трикстеру, представляет трикстера, проявляет трикстера), он, конечно, рискует, что его игра в игру будет считана только наполовину, не расшифрована, его лже-ложь будет истолкована просто ложью. Но есть ли ему дело до этого? Нет. Не потому, конечно, что ему есть дело только до Искусства. А потому что его задача – осуществлять место в безосновности, достигая дна, которого нет. Как вы однажды заметили, непонимание большинства референтов говорит в пользу концепции – маргинализация-наоборот. В этом, пожалуй, содержится одно из оснований разницы между «традиционалистами»-керигматиками, чур-чуряющимися бесовской ризомы, и нами (с вами), которые пьют сакэ за Хоронзона.

Что значит «недуально помыслить постмодерн»? Это значит – понять (*Verstehen*) существо *Das Man* как целое экзистирующей фигуры. Это значит – в конце времен различить (неразличимое) начало, узнать в забвении Бытия замысел (посыл) Бытия, чем, может быть, обнаружить место отсутствующего божественного в безосновности.

Мы не знаем, согласился бы с таким ходом суждений сам Князь философов или нет, однако, в том же тексте «Жительствование человека», который дополняет некоторые места «К чему поэты?» находим близкую этому набрасыванию мысль. Хайдеггер размышляет над строками Гёльдерлина:

*«...отверсты окна небес,
И отпущен на волю дух Ночи,
Штурмующий небо, он обогал*

*Нашу землю языками многими, непоэтичными, и
Прах доволок
До этого самого часа.
Однако грядет то, что угодно мне...»*

Между «непоэтичным» и «не поэтичным», говорит Хайдеггер, есть тонкая, но существенная разница, никак не сводимая к гуманитарному анализу. Треугольник, например, не поэтичен, поскольку никогда не был поэтичным, а, если бы был, то стал бы именно не поэтичным – то есть чем-то, чему недостает (отнятого). Не поэтичному не достает. Непоэтичное же само достаточно себе. «Не поэтичное» этого текста похоже на «Не-истину» в «Истоке художественного творения». Частица «не» - вообще важнейший вопрос европейской мысли; через ее нигилизм может быть высвечено иное нигилизму – Бытие как ничто (из сущего). Хайдеггер осторожен, он пишет: «А как мыслить «не-» в данном случае мы узнаем лишь при условии, что нам удастся точнее определить «поэтическое». Он следует за Гёльдерлином и обнаруживает, что в «непоэтичном» не исчезает поэтичное, но содержится как развязанное и разнузданное, а так же как то, что не желает конца (волочет прах). Князь философов выводит «наиближайшее к нам»: «Прежде всего, мыслить непоэтичное нашего местопребывания в мире как таковое, постигать человеческую махинацию как судьбу человека, никоим образом не снижая ее до простого произвола и ослепленности; далее, таково: мыслить то, что на этой земле нет меры, и не только нет, но что рассчитанная и исчисленная в планетарных масштабах земля не только не может дать меры, но, более того, увлекает нас в безмерность». «Бездноватость» зияет зиянием зова. Безмерность падения предоставляет исчезнувшему вдохновению уместность в отсутствии всякого места. Пустыня заключает в рассеянии веление черных звезд. Европейское мышление все время убегало от небытия, от смерти, отпадая тем самым от Бытия все больше и больше, стараясь, как выразился Хайдеггер в цитируемой работе «поспешно миновать мыслью тайну «не-» и ничто»: «Мы все еще недостаточно постигаем, что предназначается для нас в объятии, потому что не знаем пока самого объятия, отказа, не знаем поэтического в непоэтичном».

Кроме закона тождества со времен Аристотеля в «человеческом мышлении» властвовали еще несколько законов логики, в том числе закон исключенного третьего. Или А или Б – говорит нам Аристотель. Или да или нет. Или Бог или дьявол – «вторит» ему христианская кериґма (относя трикстера, разумеется к лагерю второго). Или свет или тьма, или вы или мы, или я или другой. Чем дальше, тем больше апорий, но тем более плоские и выхолощенные они уже по отношению к самому аристотелизму, протянутому к следам исчезающего вдохновения: например, истина – неистина постепенно редуцируется до достоверности - недостоверности. В этом же ключе понимали и парменидовское «Бытие есть, небытия нет».

Эти и другие апории никак не примирялись, путали либо ввергали умы в перекошенные состояния, роились флюсом европейского мозга, расшатывали остатки онтологической основанности с одной стороны и способствовали воинственному покорению опредмеченного мира с другой. Выкатившиеся из кантовского чистого недо-умевания мыслители продолжали танцы в разных вариантах на той же танцплощадке. Один Гегель, замечает А. Дугин, мог кое-что поделаться с аристотелевскими законами – один единственный из классической европейской философии. Своим диалектическим законом отрицания отрицания (тезис плюс антитезис равно синтез) он исключил логический закон об исключённости третьего. Однако Гегель, говорит Дугин, размышляя над ним в ключе фундаменталь-онтологии, оставался в рамках логоцентричного Абендланда и походил на утреннего философа, который проснулся ночью, чтобы сделать зарядку. С позиций нищестанства эта заслуга Гегеля, несмотря на его, как почти всякого и каждого германского гения, безусловную драматичность, еще больше нивелируется.

Недаром этот закон звучит так нигилистично: отрицание отрицания. Стремясь к примирению противоположностей, Гегель еще дальше уходит от благородного Утверждения, он уводит мысль в глубь драмы (а не трагедии), такую глубину, где драматическое вместе «нет» Судьбе (бездне, случайности) говорит «нет-нет», чем лишает уже и драму какого-либо накала, приготавливая торжество вялого пессимизма. Диалектическое противоречие – это ни в коем случае не Различение, в котором благородный дух, наслаждаясь Игрой и Риском, утверждает благородные ценности. Диалектическое противоречие с его примирением – это наследие рабского инстинкта, всемирно исторической мстительности возобладавшего низшего начала. Диалектика реагирует, а не утверждает. Гегелевская логика – это не инкарнация Гераклита (чему наивно верили и учили советские «философы»), а, скорее, переиздание Платона, недаром подхваченное плебеями-марксистами, которым, правда, пришлось его почистить от «абсолютного духа», воспользовавшись, впрочем, все тем же диалектизмом отрицания и примирения. Не утверждение против отрицания, не отрицание отрицания будет утверждать Сверхчеловек, но утверждение утверждения.

К чему мы это рассказываем? К тому, что нашу «симуляцию симуляции» (в т.ч. и как «творческий метод») могут обвинить в том, что она тоже есть отрицание отрицания, переиздание всё той же нигилистической мысли неистребимого диалекта модерна, решившего «ещё повоевать» в постистории, эдакая затянувшаяся икота, переодетая реакция. Симуляция симуляции – это, безусловно, не утверждение утверждения (у нас нет сил на сверхчеловеческое), она действительно лежит в плоскости нигилизма, и никаких иллюзий мы по этому поводу в отличие от других бравых современников «сверх-сверх-метафизики» не испытываем: перепрыгнуть, а не пройти человека желает только скоморох (см. Заратустру). Мы согласны с вашим высказанным некогда замечанием: «Резидуальный феномен сакрального у нас, современных, не подразумевает некоего обратного, того, что может быть развернуто тавтологически – от лже-лжи к правдивой правде, например».

Однако, симуляция симуляции или игра в игру это – не отрицание отрицания. Это отрицание отрицания отрицания. Нет, не фигура речи. Да, «поэтическая поза», но не в редуцированном смысле. А как попытка подойти к той самой конечной точке нигилизма, к пику реактивных сил, к точке разрыва, к нолю ноля, к оборотной стороне «не-». Высший человек (художник последних времен, поэт скудных времен) у Заратустры – это далеко не Сверхчеловек, но это его возможный предок, который хочет прекратиться ради того, чтобы жил Сверхчеловек. Высший человек уже не отрицает; отрицание и нигилизм в нем зашли столь далеко, преодолели все свои иллюзии, прошли все свои инстанции, что стали утверждать. Разумеется, утверждать они могут только отрицание. Но это уже утверждение (активный нигилизм), последняя фаза, за которой следует трансмутация. Когда отрицание утверждается как отрицание, то отрицается отрицание отрицания. Вот к чему художники в последние времена по Ницше. Поэты скудных времен у Хайдеггера – это, похоже, другой, но родственный взгляд на них.

Поэт скудных времен – это человек модерна, в том смысле, в каком таким человеком был Эрнст Юнгер или Стефан Георге. Этот человек ощущает уже-несовпадение феноменального бытия и ноумена, и для восстановления тождества он желает волишь иначе, но все же волишь. Он не знает, как могут еще качнуться весы с его грузом – быть может, в этом его проклятие. В постмодерне феномены и ноумены разлучены совсем. И тут с поэтом времен скуднейшим происходит злой казус. Он уже не вмещается в свое проклятие (предназначение). Возможно, как вы указывали в вышеприведенной цитате, пока есть поэт и «няшный котег», нет состоявшегося постмодерна (в его постлиберальной версии, во всяком случае). Однако проклятые поэты как люди модерна

предстоят перед постмодерном, перед скуднейшим скудного. Он перед ними или где-то по левую руку от них пред-ставлен.

Симуляция симуляции – это их вынужденность. Отважиться на нее – значит рискнуть больше рискующего, значит – изволить колебание на весах, значит – пройти в Решительность. *Это так же не заслуга, а вынужденность*, как Сверхчеловек не будет заслугой высших людей. Поэт – не мистагог Бытия, но богоносец его изображения. На стертом лице, на черном квадратном полотне последней хоругви он может только различать, а не обнаруживать противоречия, и в различении неразличимого, в чернейшем черного он читает и благодарит вызов Бездны и Судьбу Бытия. *Поэт – это богоносец Бездны.*

Связь благородного и трикстерского в поэте – генеалогична. Германский миф ясно скажет об этом. Бог мудрости и войны Один, меняя облик, обманом и кражей (выступая как трикстер) крадет божественный мёд, секретный напиток вдохновения у двух карликов – его изготовителей. Выпив мёд, он летит от них, поспешая в Асгард, но мёда так много, что богу приходится исторгнуть его небольшую часть из себя – через анус. Эта часть и достается людям, падая на землю. Из нее родится поэзия. Поэзия происходит от Избытка. Избыток – есть имя богатства бытия, распределяемого несправедливостью. Получить этот избыток, опьяняющий напиток благодати, может соответственно тот, кто умеет утверждать случайность, кто в Un-Neil способен различить Neil, кто играет в кости по-ницшеански. Поэт как адепт Одрёрира, выпивая излившуюся на него благодать судьбы, ничего не производит. Он только исполняет. Идея, будто стихи являются детьми поэтов – пошлейшая и жалкая болтовня (Gerede). Никакого наследия у поэта нет. Он есть сквозь мёд поэзии, но не производитель продукции из мёда. Поэт, который что-то производит, это самогонщик, не нашедший лучшего применения амброзии судьбы, чем сравнить ее с буряком. «Пописывающий, всё больше попивающий», как выразилась Наталия Медведева, он «блаженствует» на поэтических дачах, в своей мелкой неге, в разрешенности со стороны таких же мелких как он вдов и доченок великих писак (сама Медведева не попивала, а пила; ее мёд поэзии был горьким, но она его пила). Судьба – это не сырье, над которым решил взять вверх, которым решил завладеть и распоряжаться человек. Судьба – Посыл, такой же Посыл как мёд поэзии от Избытка. Сквозь этот посыл поэт «воспринимает и передает воспринятое». В эссе «**К чему поэты?**» Хайдеггер формулирует: «*Рискующий риск всё исполняет (осуществляет), но ничего не производит*».

В бытии-к-смерти, перед Смертью и в Смерти, которая создает безопасность, поэзия – не производство. Она скорее есть делание Умолкания. Как можно волить иначе, чем через преднамеренное самонавязывание в опредмечивании мира? Только не воля в волеии этого самонавязывания, только рискуя больше рискующих, только в конечной вынужденности обнаруживая за «не-» своего времени утверждение и Посыл. Такой рискующий, конечно, высказывается. Но не просто высказывается. Не высказывается и в риске высказыванием, как то положено природе человека. Но высказывается, рискуя Сказом.

Что такое Сказ? В «**Диалоге между японцем и вопрошающим**» (то есть между профессором Тезуке из Императорского Японского Университета и самим господином Хайдеггером) мыслитель узнает, что в японском языке нет специального слова, которое можно было бы перевести как «язык», но есть слово «Кото Ба», которым японцы, по мнению профессора Тезуке, называли бы «язык». Это словосочетание удалось перевести как «*лепестки цветения, происходящие из события светящей вести восторга*». Это японское «*существо языка*», его тайна. Профессор Хайдеггер, желающий дать имя существу (тайне) языка, не раскрывающемуся так откровенно и светло как у японцев,

предлагает слово «Сказ». Сказ Хайдеггер трактует как «светящее вестничество производящей милости». В режиме обычного риска говорения, то есть, рискуя только высказыванием (рискуя языком, уходя из Дома Бытия) обнаружить этот Сказ едва ли возможно. Пока добывается информация в форме руководящих принципов и ключевых терминов, Сказа нет; более того, его недостижимость все увеличивается, отдаляясь вместе с опредмечивающимся и теряющим самое себя языком (точнее, языком, который теряет удаляющееся человеческое, выныривающее не только из своего языка, но и из его потери и изгоняющее себя в завоевываемое сущее). Язык-информация, оперирующий и оперируемый в понятиях, не открывает Сказа. Такой язык становится метафизическим забвением Бытия. Он должен замолчать, и делание этого Умолкания (*Verschwiegenheit* – экзистенциал Бытия-в (*In-sein*) уровня *Angst*) – есть поэзия. В разговоре с японским профессором о языке Хайдеггер говорит про молчание о молчании, называя его сказом, постоянной прелюдией настоящему диалогу о языке. Отыскивая Сказ в непоэтичном, оболгавшем землю (у Гёльдерлина), поэт и мыслитель скудных времен как раз и рискуют этим Сказом – предикативным молчанием, которое благодаря удвоению риска разливается в слове сказующего так же, как благодаря удвоению отрицающего отрицания приуготовляется Утверждение. В «ужасе бытия без укрытия» они «несут смертным след богов, убежавших во мраке ночи мира». Отвязанный и отпущенный в мир дух Ночи, чьему желанию не ведать конца своей разнузданности идет на встречу безмерность мира и безосновность Бездны – вот, с кем говорят они. И если не ужасаются они каждому своему слову, рискующему Сказом, и если могут они говорить как-то иначе, а не так и только так – становится вопрос, поэты ли они и мыслители ли, адепты ли они трехсот тридцати трех огненных языков рассеяния.

II



На этой фанфароносной вагнеровской ноте мы не только не заканчиваем, но переходим к главному и сложному, предварительно поясняя: мы не знаем, находитесь ли вы в Ужасе рискующего Сказа, ибо иногда кажется, что доступность архаики (разомкнутость онтического и антического) для вас ясна и очевидна, но совершенно точно то, что вы как раз несете смертным след богов, и, быть может, именно ваша близость к онтическому (при властвовании и над онтологическим), которая и составляет секрет несения этого следа, сама по себе, может являться веским аргументом против фундаменталь-онтологии как науки традиционализма. Где-то «защищая» Хайдеггера, мы в самом деле не беремся защищать артикуляцию его учения как традиционалистского и, более того, указываем на то, что фундаменталь-онтология, будучи философией после философии и чая себя как философию до философии все же принадлежит философии. Тут вместе с православным иудеем Шестовым пальцем через небо попадает на наш экран

упоминаемый ранее Деррида, назвавший мысль Хайдеггера и Гуссерля «обращением к

традиции, которое не имеет ничего общего с традиционализмом» (Ж. Деррида, **Письмо и различие**). Вместе со своей «защитой» мы не можем удержаться от набрасывания предметных вопросов к господину профессору Хайдеггеру по поводу его экзегетики Ницше. Но, как стоящие посреди музейности, в саду скульптур на том месте, что обращено к стороне Запада (эх, неужели сегодня еще нужно иметь немного азиатской крови для того, чтобы быть, а не слыть европейцем?) заметим, что честное чтение Хайдеггера едва ли в большей степени способно погрузить реципиента в закрывающую метафизику логоцентризма, чем с благими намерениями обращение к тому же Рене Геноу.

Что важнее в Хайдеггере скудных времен: его надгробная ревизия европейской мысли или провозвестничество Второго Начала? Хайдеггер сам принадлежит скудным временам, что ясно не только в широком смысле его уместности, но и в том, например, что Второе Начало все меньше и меньше провозвещается в его текстах после падения Третьего Рейха. Говоря о поэзии и поэтах, мы неизменно будем обращаться к философской антропологии – может быть, в ней удастся обнаружить еще одну глубину Хайдеггера, глубиннейшего мыслителя, мыслителя в скудные времена, которым принадлежим и мы с вами.

Нам думается уместным взять несколько посылов вашего эссе и рассмотреть их, переходя от одного к другому. Вот эти послы:

1. Невнимание Хайдеггера к изначальной погрешности человека в духе гностицизма;
2. Пренебрежение со стороны Хайдеггера отношениями богов и людей;
3. Аскелепиева работа Хайдеггера, желающего Новое Начало;
4. Диалог, монолог, молчание: слово и начало поэзии;
5. Скрытый субъектоцентризм философии Хайдеггера;
6. Антропоцентризм хайдеггеровской философии, отсутствие у Хайдеггера ретроспективной дифференциации истории бытия с человеческой историей;
7. Проблематика истории и поэзии, поэтов в истории;

Вероятно, справедливо в целом исключать прямые параллели с гностическим метаисторицизмом у Мартина Хайдеггера, однако так ли уж случайно и ситуативно произошла Первая Ошибка, давшая начало Забвению Бытия? Мы уже упоминали акцентирование Дугиным «абсолютной и изначальной виновности Вот-Бытия», когда в ходе своей лекции «Аналитика Бездны» он заметил, что для того, чтобы почувствовать себя виновным в духе экзистенциальной Вины Дазайна, нужно ничего не натворить, нежели натворить что-нибудь не то. То есть достаточно просто существовать. Если указание на присутственное шевеление невидимого Бытия виновно как таковое (как в сущности своего «вот», так и в сущности своего сущего), если Das Man – фундаментальная фигура, делающая неаутентичное экзистирование Вот-Бытия обязательным и преимущественным, то это наверняка указывает не просто в обратную сторону от незначительности забвения, но и куда-то глубже ситуативного оформления Первого Начала и скоропостижной его в исполнении платонизма порчи. В «К чему поэты?» мыслитель прямо говорит (как и во многих других местах многих других работ), что угроза человека самому себе и всему сущему, имя которой отношение сущего и Бытия, растет прямо из человеческой сущности.

Можно ли вообще говорить о том, что люди просто забыли? Это означало бы мыслить забвение и катастрофу как постановление субъектного человека. Однако Хайдеггер указывает на «древнюю скрытую сущность воли как бытия сущего», которая «проявляется в ходе становления метафизики Нового времени», из чего, например, следует, что не воля метафизична (как продукт и проявление истории забвения) и даже,

что не метафизика рождена из воли человека (способного забыть или не забыть), но что само бытие сущего раскрывает свою скрытую сущность таким образом. Нам кажется, те акценты, которые Хайдеггер расставлял в критике Фридриха Ницше и те, которые расставил его уход от посткантианского гуссерлианства и в другую от Шеллера сторону, свидетельствуют так же в пользу не-антропологического понимания начала забвения. Дазайн как очевидность просвета даёт *Бытие как возможности чистой невозможности*, что не только спасает его от полного забвения, но и дает возможность понять начало забвения как ничтожение ничтожащего (по-становящего) сущее Бытия в со-наличности его постоянной (без)начальности для любого о-существования, включая забывательное. Бытие осуществляет(ся) в игре сущего двуначально: как бытие немотствующего погруженного в распахнутость мирскости сущего животных, растений, камней и как бытие говорящего и разумного сущего человека. В последнем особом по Хайдеггеру сущем этот «излишек Бытия» становится же и недостатком Бытия, становится проклятием человека, становится причиной и последовательностью исторжению человека из Бытия и его дома в сущее, к сущим, которых исторгнутый носитель проклятия мучит, вытаптывает, приручает и делает все прочее, о чем Софокл в свое время еще не догадывался. Человек вообще предрасположен к по-становлению себя перед миром, к забвению. По определению глубинно и обязательно предрасположен к махеншафту, к гешефту и шахер-махеру. То есть «не мог не совершать первичной ошибки, причины всех последующих ошибок», что и было ясно Хайдеггеру без кодекса Наг-Хаммади. Кстати, тут мы снова не можем не обнаружить странной параллели с далеким и близким «тевтонскому колдуну» Фридрихом Ницше, который вмнял впадение человека в постепенный упадок в вину пауку-разуму и любящей аккумулировать реакцию памяти, то есть всему тому, что с точки зрения вульгарных биолог(изатор)ов отличает мозг крысы от человеческого с развитой подкоркой: «живот» тут не по чину или наоборот – вопрос уже не находчивости, а Находимости.

Предрасположен, таким образом, человек и к вынесению божественного куда-то за пределы Бытия (откуда оно, как ни забавно, неизменно скатывается в сущее) – по крайней мере, в той или иной степени, тот или иной человек. Вынесение бога в потустороннее от жизни – негативно-нигилистический смысл смерти бога по Делёзу – креационизм ближневосточных богоубийц, который, похоже, нигде не завоевывает своей исключительности, но почти везде определённо и определяющее влияет на ход дела.

Пренебрегает ли Хайдеггер отношениями людей и богов? Во всяком случае, он единственный из философов пост-метафизики, кто не только не пренебрегает ими, но и концентрирует на них свое внимание – иначе как понимать *Das Geviert*? Другой вопрос – Всегда ли боги убегают, только убегают? Действительно, ведь когда-то они вмешивались, наказывали или, напротив, поощряли человека, одергивали зарвавшихся героев, похищали небывалой красоты смертных, насылали проклятия. Это теперь и понимается по большей части под мифом, и самое такое воспомяющее понимание выдает богооставленную данность простывающих божественных следов, на которых действительно преимущественно концентрируется Хайдеггер. Тут хотелось бы вспомнить (раз ничего нам больше не дано сделать), что и во времена не убежавших богов было божественное начало, которое всегда мыслилось как приходящее и уходящее – путешествующее, эдакое божество всегда-иного. Это Дионис, вечный путешественник, пришедший в Элладу из лабиринтов прото-культур, безумный изгнанник в Египет, веселый триумфатор Востока, лукавый покровитель Антония. Он, конечно, не убежал, но и уходя – приходя он оставлял след только как след постоянного превращения: его след не простывает – с ним происходит что-то другое. Дионис как постоянное становление-превращение – это такой бросок костей в Игре, который утверждает только множественность (но в этом «только» она судьбоносно едина), это сама Игра, первопринцип, различие с самим собой без установления различающего элемента,

который невозможно схватить. Это и есть Вечное Возвращение. Вторым утверждением из него становится различающий (генетический) элемент – ницшевская Воля к Власти, соотносимая с Ариадной, спутницей Диониса, в которой диурн силится зафиксировать различие (нить, «Вот» Вот-Бытия), возвышаясь над ней в рефлексии. Если Дионис метапарадигмален и является подкожей сакрального, то он, стало быть, не относится к убегающим богам. Не потому ли парадоксальным образом его след различим (как неразличение) в вине и хлебе Евхаристии, литургический момент преосуществления которых в Тело и Кровь отчаялась в длинных спорах и раздумьях установить христианская керигма...

Какова задача людей по отношению к богам? Воспевать их, служить им, развлекать их. Ради того затевалась и Троянская война. Ну а без всего этого мельчающий человек начинает навевать богам скуку, внушает отвращение. Справедливости и полемики ради заметим так же, что и не убежавших богов античности-онтичности Хайдеггер порою в своих трудах весьма и весьма к месту поминает. Кто как ни он в докладе 1967 года, не будучи традиционалистом со структурой наперевес, воздает хвалу имени многосветной Афины, говоря о ее сове и молнии, что покоится в доме, ключи от печати которого держит эхилловская богиня (М. Хайдеггер. **Исток искусства и предназначение мысли**).

Второе Начало. Тут нам видится, что Хайдеггер более мрачен, чем принято считать. Особенно, после падения национал-социализма, когда с ним случился «феномен молчания». Вообще говоря, вопрос «о чем молчал Хайдеггер?» куда важнее вопроса, о чем он говорил. А молчал он не только о холокосте и об Эрайгнисе, который якобы не состоялся. Второе Начало связано с Последним Богом. А «близость к Последнему Богу – это уход в немоту». Уход же в немоту есть своеобразная «логика» и стратегия Хайдеггера и хайдеггерианства. Может быть, Второе Начало – это бесцельная цель(ность), вынуждающая к опыту непрерывного и живого мышления, которое не может воплотить или раскрыть Бытие, но может увидеть вечное ускользание последнего? Может быть, Второе Начало – это гераклитовская невозможность войти в реку второй раз, а, может быть, даже кратилловская невозможность войти в нее единожды. В молчании Хайдеггера и постоянном ненаступлении Второго Начала как бы обретается небытие Гитлера, которое выше истории, в котором человек растворен в течении реки именно потому (и тем образом), что он выпрыгнул из своей основы в бесосновность. Так это или нет, но к тезису об аскелепиевой работе Хайдеггера мы считаем нужным добавить именно его, Хайдеггера, принципиальную философскую позицию о конечности Бытия, конечности Времени, о Бытии-к-смерти. У Хайдеггера Бытие и Ничто принадлежат друг к другу не по каким-то метафизическим принципам неопределенности или определенной непосредственности своей со-принадлежности, а по «причине», звучащей резче и проще: «потому что само бытие в своем существе конечно и обнаруживается только в трансценденции выдвинутого в Ничто человеческого бытия» (М. Хайдеггер. **Что такое метафизика? / Время и бытие. Статьи и выступления.**, М., 1993). Стоит так же заметить, что, если у раннего Хайдеггера (времен «Бытия и Времени») историчность истолковывается как раскрытие Дазайна, а у среднего Дазайн уже утоплен в раскрытии историчности как послании Бытия, то у позднего, похоже, историчность тонет следом за Дазайном в чистом приближении к Бытию. Если в первом периоде *das Man* мог пониматься как политическая фигура Дазайна, во втором он уже обращается к своей бытийной аутентичности, решительно проницаая политическое и историческое как посыл Бытия, и именно для такой решительности необходима бесцельная (внеметафизическая) цельность Второго Начала, а в третьем (послевоенном) периоде Второе Начало, касаясь тихого дыхания Последнего Бога, становится по ту сторону «еще» и «уже», шифруется в Молчании и путанице письма, из которой может соскользнуть у иного читателя в политический *das Man* или его Решимость (от оной рукой подать до недуального

прозрения), но не может соскальзывать никуда, кроме как в само ускользание Бытия у Хайдеггера, который теперь окончательно выдвигается в «заместители Ничто».

С «феноменом молчания» Хайдеггера связана история, подлившая масла в огонь антихайдеггерианцам из левого лагеря, когда мэтр отказался вынимать из переиздания работы 1935 года цитату о национал-социализме: "Та чепуха, которую сейчас пытаются представить как философию национал-социализма, - но которая не имеет ничего общего с внутренней правдой и величием этого движения (а именно, с противопоставлением глобальной технологии и современного человека) - забрасывает свою сеть в мутные воды "ценностей" и "целостностей"». На возмущения двуногих прямоходящих 1953 года Хайдеггер ответил: «Мне было бы нетрудно вычеркнуть из рукописи эту фразу, да и любую другую, которую вы цитируете. Но я так не делал, и не буду делать впредь, прежде всего по той причине, что все эти фразы исторически являются частью определенного лекционного цикла...» (цит. по книге «Клаудия Кунц. Совесть нацистов. М., 2007»). Хайдеггер вполне бы мог сказать самому себе (молча) и в 1935 году, и в 1953-м, что внутреннюю правду и величие движения он знает лучше всех, даже лучше самого Гитлера, который, к слову, сам говорил что-то подобное: «Кто видит в национал-социализме политическое движение, тот вообще его не видит». Исторический Гитлер со всеми своими деяниями и исторический нацизм были ясны Хайдеггеру с другой стороны, с вершины Истории Бытия – как посыл. Утверждение, что история есть фашизм – верно. Верно и ваше: у белого человека нет ничего, кроме истории и фашизма. Заметим, однако, что фашизм и история – были. Будучи помещенными в бывшее, а не в прошедшее, они становятся посылом в Бытии или посылом Бытия в сущем и в молчании могут быть поняты как единство начало и конца, как сбывающаяся эсхатология или сбывающееся забвение. В том смысле, в каком Хайдеггер и Гитлер жаждали Великого Поворота, они, возможно, и были родственниками Аскелепия, наказанного, но божественного. Но в том смысле, в каком они замолчали – едва ли. Если взять и сравнить Гитлера, Сталина, Петра Первого, Нерона, Августа Октавиана и Ивана Грозного, то Царь Московии, «бесноватый фюрер» и император-лицедей будут находиться на стороне сбывающегося Молчания, на стороне ничтожащего «зарвавшееся сущее» Бытия, а основатели империй (Август, Петр и Сталин) на стороне решительного продолжения, Великий Поворот в котором развернут «в пользу сущего». Все они историчны, однако, не мимо продолжающих и не мимо начинающих, а мимо заканчивающих ходит Последний Бог. Может быть, в «феноменологии молчания» стоит искать Второе Начало и его тайну. В конце концов, основной вопрос фундаменталь-онтологии («Что есть истина Бытия-Sein?») ставится после переходного вопроса (Übergangsfrage), звучащего – «*Почему есть нечто, а не ничто*» – так, словно он вмещает в себя (а, может, напротив исторгает из себя и вымещает из себя) вопрос о постоянной задержке, которым мучают библейского стража.

Короче говоря, во Втором Начале нам видится, прежде всего обнаружение эк(в)ивокативной воли Бытия к Забвению, а всё остальное после, если это после имеет место быть. Можно вновь вспомнить Экхарта, говорившего о том, что божественный аутономен «указует на некую попятную обращенность самого Бытия к себе» (**Expositio Libri Exodi**. P. 16. LW II.). Попятная обращенность. Вечное Возвращение. Забвение. Так говорящий Заратустра сменяется так молчащим Хайдеггером.

Умолкание способно обнаружить Сказ. А все-таки именно Сказ, а не диалог и вопрошание есть начало и конец поэзии, поэтической работы. Он есть начало перед началом. Он в определенном роде есть дочеловеческое и доисторическое, домонологическое и догероическое, то доантропологическое время, которым, следуя вашим замечанием, не утруждал себя Мартин Хайдеггер. «Высказывание остается лишь путем и средством», - пишет он в «К чему поэты?», и нам трудно представить себе, чтобы Хайдеггер начинал и заканчивал поэзию как путь и средство. Так и есть: «В отличие от

этого есть высказывание, которое откровенно открывается Сказу, не размышляя о языке так, как о предмете». Да, Хайдеггер говорит, что высказывание отмечает вход в Сказ, но это не значит, что высказывание, будь оно вопросом или утверждением, есть начало. Нам думается, что такое поэтическое высказывание подобно фундаменталь-онтологии, спускающейся через онтологическое вглубь к онтическому и дальше в себя, обнаруживает начало себя в предстоящем себе молчаливом начале, в начале молчания, из которого происходит поэтическое движение к концу Умолкания. Во всяком случае Хайдеггер пишет, что отмечающее вход в Сказ высказывание нисходит к высказывающему только, чтобы быть высказанным. Но подлежащее быть высказанным – это рискующее больше, волящее иначе, это то, что превращает несчастье Бытия без укрытия и без основы «в оздоровление мирового существования». Пение певца и поэта закрыто для всякого преднамеренного самонавязывания и ничего не жаждет, отмечает Хайдеггер. Поэтому «возомнивший себя автором человек и принимающийся думать «чтобы мне такого написать» не имеет у Хайдеггера к поэзии никакого отношения. Поэзия не производит, а идет сквозь Посыл, будучи сама посланием (манифестацией). Таков архетипический царь-поэт Давид библейский. Таков и выше упоминаемый царь-поэт Иоанн свет Васильевич, по крайней мере в модусе Парфения Уродивого, могущий быть святым покровителем-заступником поэтов-трикстеров скудных времен.

Одно из ваших замечаний касается скрытой субъектоцентричности хайдеггеровской философии или, по крайней мере, его философской методологии: философ помещает своего персонажа в *Verwüstung* (Опустынивание) и ничтожность, находясь внутри которых он может им «противопоставляться своей насыщенностью». Обвинение это, кстати, под вопрос ставит не только Хайдеггера-традиционалиста, но и Хайдеггера-постмодерниста (каковым он заявлялся в конце лекции А. Г. Д. «Аналитика Бездны»). Действительно, приём этот современный, и спорить тут не приходится. Вместе с тем, хотелось бы присовокупить и то, что браво противостоящий своей насыщенностью видимой ничтожности человек по Хайдеггеру же скатывается в самонавязывающее опредмечивание – во всяком случае, если начинает производить свою насыщенность (духовность, интеллект, пятое-десятое), используя ее как рабочий материал для выстраивания глухой отгородки от *Das Man*, который все равно будет перестукиваться, да еще и так, что лучше бы уж говорил... Вообще, в вопросе о субъекте Хайдеггер тоже проделал определенный путь. Нам видится его «Бытие и Время» несколько менее далеким от субъектности (правда, стоит заметить сразу, что, не разделяя и не индивидуализируя Дазайн, философ с самого начала отказывает человекам и временам в праве на самоунификацию), чем период, когда он работал над лекциями о Гёльдерлине и других поэтах. Призыв Гёльдерлина «под божьей грозой стоять с головой непокрытой» Хайдеггер трактует как призыв обнаружить свою подставленность сверхвластию Бытия. Хайдеггер, ушедший от Гуссерля, в Дазайне как центральной фигуре строит хотя и трансцендентально-онтологический, но все же некий субъект. Французы схватились именно за эту сторону его учения, впрочем, и ее изрядно облегчив (если не сказать опошлив – привет мсье Сартру), игнорируя ту другую, которая, кажется, так неприятно настораживает последнего гитлерюгендовца Юргена Хабермаса и которая сменяет экзистенциализм на мистику (по пути выдвинем вопрос – возможна ли постмистика?). Опять и снова под Небом Германии Хайдеггер в чем-то сходится с Майстером Экхартом. Тот не «исправлял» эссенцию на экзистенцию, но указывал ведь на не-субъектность первой в Боге, обращая пристальное внимание на это задолго до него, впрочем, сказанную формулу «*Totus intus – totus foris*». Хайдеггер, кажется, идет в умном деянии дальше этого и выдвигает сверхвластие Бытия – аккуратно на место задвинутой им в забвенческую историю Воли к Власти Фридриха Ницше. Задвигает он ее туда, с энергичной априорностью утверждая и предуведомляя, что «понять Волю к Власти в смысле Ницше мы можем только на пути осмысления метафизического мышления, а это значит – осмысления всего целого западной метафизики» (М. Хайдеггер, **Слова Ницше**

«Бог мертв» // Ницше и пустота; М.: Алгоритм; Эксмо, 2006.), трактуя ницшеовское «Бытие» как совокупность сущего и игнорируя, как нам кажется, глубину дионисийского примата Становления, которым Учитель для всех и ни для кого понимает Глагол. Этот всегда-глагол «Быть» (Sein) имеет в виду в комментариях к Глаголу Божьему и Экхарт, когда пишет о световом кипении и самопопятном движении Бытия.

Касательно Ницше и вопроса субъекта нас в «К чему поэты?» привлёк следующий абзац: *«До какой степени внутри осуществления современной метафизики отношение к такому существу принадлежит к бытию сущего и до какой степени суть Ангела Рильке, при всем содержательном различии, является метафизически тем же, что и образ Заратустры Ницше, может быть выявлено только из изначального развертывания сути субъективности».* Речь идет о существе, держащем весы (с весящим и висящим на них миром), об Ангеле. Точнее об Ангеле, которому Рильке предлагает эти весы передать, предварительно экспроприировав их у торговца. Ангел, говорит Хайдеггер, «правит и проявляется центром неслыханной широчайшей окружности». В замечании о Заратустре, похоже, ставится вопрос об Ангеле поэта и даймоне философа. Правда, не очень понятно, почему его нужно рассматривать обязательно в рамках метафизики субъекта. Во всяком случае, не только в них – ведь даймон философов, явившийся Изумлению в Начале, никак не может быть помыслен исходя из «развертывания сути субъективности». С этим бы, наверное, согласился и сам Хайдеггер, что явствует из его гераклитовских семинаров. Ну а Рильке с Ницше достаточно поэты, чтобы обнаружить и явить «след богов».

Даймон весьма напоминает Молнию, которая правит всем. Он тождествен логосу, пишет Дугин, замечая, что переход от онтики к онтологии философа Древней Эллады воспринимали как столкновение с божественным, как из-ум-ление. Что такое Сказ среди этого? Сказ в своем местоположении похож на Логос, который есть до логики, на дологосный логос – на ту самую Молнию Гераклита, когда она является и высвечивает своим явлением все вещи. Ее высвечивание, еще не отраженное в Слове, но одновременно уже учредившее своим молниеносным явлением это Слово, есть предсловесный Сказ. Если человека поместить в Слово, то Сказом будет доантропологическая история – нам кажется, что в данном случае мы не домысливаем и не искажаем Хайдеггера. Но мы признаем с другой стороны вашу правоту, которая заключается в том, что за прото-слово, во тьму до божественного явления Хайдеггер не заглядывает в связи с Историей Бытия, не пишет об этом эксплицитно. И все-таки, помимо замечаний о Сказе и содержательном расхождении Хайдеггера и Шеллера, мы бы хотели добавить об антропоцентризме, который по обыкновению идет рядом с субъектоцентризмом, следующее. Хайдеггер наделяет человека «перегруженностью» Бытием, которая становится недостаточностью и проклятием. Хайдеггер говорит о Вот-Бытии и его экзистенциалах приложимо к человеческому. Он ставит смертных как одно из равнозначных направлений разворачивания Четверицы, вместе с божественными, Небом и Землей (основанием), но смотрит на них все-таки «из человека». Всё это так. Нам кажется, Хайдеггер вполне мог бы изречь знаменитую фразу Ангела Силезского: «Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Я без него ничто, но что он без меня». Или экхартовское пограничное с ересью «не было бы меня, не было бы и Бога». Однако, антропоцентризм ли сие? Человек – голос, слово Бытия, помещенное в Дом – язык. Человек призван славить высшее (Бога – это его фундаментальная задача, и этим утверждением Ангел Силезиус и Экхарт оправдываются перед догматом от ереси). В том, как человек таким образом есть – его нет. Антропоцентризм ли это? Если и да, то это антропоцентризм какого-то внеочередного античного начала, изливающегося в рамках христианства. Как ни крути – а таков и сам Хайдеггер – родня рейнским мистикам. Мы тоже понимаем человека в канве прекрасного ковра – раной на Теле Господа, божественным стигматом, язвой и узором, рельефом Сына, в котором по схоластам Бог

(само)познает в единстве своего Бытия и познания, в котором мы видим и суд, и меру, и безмерность. Через раны Его кровит безосновность. Бездна – на Кресте. И се – Человек.

История, говорите вы, есть злокозненность (Ницше назвал бы ее злопамятством), и что в ней делают поэты по отношению к Бытию (которое как раз из-за злопамятства-то и запамятавали)? Поскольку поэт традиционных времён по-другому относится к весам (и мерам) мира, чем его наследник, то он, этот безымянный певец архаичного мира ответственен (если уж распространять на него вопрос об ответственности) в равной мере со всякой другой человеческой душой, то есть в той мере, в какой он является антропологической единицей, которой конституирована невидимая трещина Первого Начала. А далее уже следует «развертывание изначальной сути субъективности». С началом истории и онтологии поэзия действует как носитель проклятия. А все, что проклято, то и прокликает. Таков первый проклятый поэт Тамирис, он же, по сведениям Псевдо-Аполлодора, родоначальник мужескополой любви среди смертных, - кифаред, бросивший своим талантом и красотой вызов иерархии сущего. Тамирис, как и Аскелепий, выпадает из складок Бытия в рамках Мифа, но в этом выпадении уже угадывается история. Поэзия и поэтика похожи на гангрену Кенозиса; они в той же степени порча миру. Слово постоянно клонится к отщеплению от Отца. В итоге оно начинает свидетельствовать, в том числе и против самого себя. Поэзии можно было бы не доверять в той же мере, в какой и истории, если бы поэзия, имея ключ к обратной стороне Слова, не совершала ход к Мифу. Поэтика и история содержатся в Тамирисе и Лотреамоне, в Лотреамоне и Иисусе. Ведь письмо, кажется, вообще не может принадлежать дионисийскому. Оно ему и не принадлежит. Дионисийское – это танец письма, то пьяное и никогда не схватываемое до конца, что есть в метафоре. Дионис стоит перед словом и после слова. Поэтому он может, выглядывая из Мифа, встречать отпадающего от Отца в своём проклятии Мальдорора – встречать Лотреамона до его рождения и после его исчезновения. Причем, Мальдорор и есть риск Сказом, риск Лотреамона, достигающего глубин безосновности. Подобно этому Лабиринт ницшевской поэзии-философии есть такой риск Сказом, в каком Дионис рискует Дионисом, этот Лабиринт есть приключение и мистерия.

Если отслаивающее(ся) от Бытия Слово содержит в себе, содержит в своём разуме начало дезонтологизации, то и последующая постановка вопроса о вычищении сущего от Бытия коренится в проклятии, в слове, которым Бездна взывает к Бездне – однако, можно ли говорить об ответственности проклятия?

История белого мира укладывается в ироничную формулу Ницше «начинать как греки, заканчивать как германцы». И Хайдеггер, принадлежа германскому Небу, несмотря на его учение о смертных и бессмертных, принадлежит фундаментальной германской вере в смертность богов перед лицом судьбы, которая может прозвучать как поэма Валы, поэма-проклятие, поэма заклинающего откровения. Тогда достигая дна безосновности, поэт достигает дна Смерти. Дух Ночи не желает видеть конца, но будет угодно так, как угодно поэту – об этом говорит Гёльдерлин.

Проклятие Слова глубоко. Афазия Сторожа, повторяющего, что полночи «всё ещё нет», также действие этого проклятия. Если Второе Начало должно начаться после глубочайшего исполнения, реализации проклятия, заключенного в Слове и в поэзии, то, кажется, о нём вообще едва ли возможно говорить, поскольку оно находится по ту сторону грядущего Умолкания. Всякое говорение о нём сомнительно: разве оно служит приближению Последнего Бога? С другой стороны, этого приближения и не будет: Последний Бог проходит мимо.

В конце нам бы хотелось сделать небольшой набросок относительно русского национал-хайдеггеризма, каким мы можем его предчувствовать. Перенесёмся для этого к концу национал-социализма, к концу, благодаря которому не получило второго начало сущее, но, быть может, высказалось своим ледяным молчанием Бытие.

Русская Земля отражается в Немецком Небе. Что за ироничную игру ведут друг с другом черные крылья в прицельных крестах и «Катюши» в стальных косынках?

Кто предсказал нам тетралектику свастики, начертав холодной рукой предчувствие цареубийства? Немецкая принцесса, поглощенная русской Почвой. Русская святая, разбившая болезнь небесного взгляда о замкнутое распутье черных камней. Александра.

Онтологические германofilы, мы любим Немецкое Небо над Русской Землей. Мы спасли его разбитый Нимб, выпавший из трясущихся туч Заратустры.

В глухой деревне юродивый приветствовал пленных солдат Вермахта слезой и молчаливой улыбкой. Конвоир, убивший его, поскользнулся, наступив на мертвого голубя.

Мы любим немецких принцесс, ставших Русскими Императрицами. Алиса, попавшая из Гессен-Дармштадта в Русское Зазеркалье, выдергивает из бороды ужасающего Распутина первобытную Структуру и волшебное событие жертвы.

Мы любим немецких философов, незнание которых о нас похоже на забвение их душ на подменённой теперь Родине. В наших лесах кличет косматый оборотень Гегеля – «я видел его и содрогнулся». Оскверненное Небо Дрездена пронеслось на Восток незаметным блицкригом. Наши старцы с глазами убийц оживляют жертвенных мальчиков с пшеничными волосами. Наша Земля так похожа на Ничью Землю ваших солдат и поэтов, потому что разверзается по велению вашего Неба как Бездна, в которой скелеты в погонах салютуют сбывшейся смерти.

Безногие в чёрных мундирах стреляют в ржавое солнце, тщась остановить созерцанье того, как нахлынувшая русская почва эякулирует жижу и грязь в распятых и насилуемых домохозяек. А сама эта жижа уже оплодотворена калёным семенем шмайсеров, сплавившимся со жженой костью исчезнувших деревень. Что родится в этой иерогамии? Бытие и Бремя. Бремя безвременное, как сердце великана из мифа.

«Судьба мира поручена немецкой мысли», - слышим мы Мартина Хайдеггера, поющего надгробную песнь угасшему Абенланду. *"Die Geschichte der Welt ist aufgetragen der Besinnung der Deutschen"*. Больше не бьется немецкая мысль, она выбилась и растворилась в лучезарной свободе Конца. Немой Бухенвальд видит через окно ницшевского музея мир маленьких моргающих людей, жующих бумагу.

Мы, онтологические германofilы, любим Немецкое Небо, поскольку исторглись из Русской Земли. Не принадлежа самим себе, мы такие же ничьи, как бездорожье, растворяющее любой целенаправленный шаг. Русский кошмар – это воздух, в котором пропадают кричащие дети. Мы любим русский кошмар, прошиваемый градом пуль и огня светлого Неба. Блуждание в нем становится Странствием.

Наша германofilия – это ультра-славянское западничество-к-смерти. Мы против продолжения. Не можете жить и не хотите умирать? Мы присвоим вашу смерть – так любим мы, хозяева ночи, абсолютный Закат.

Мы – герои Всемирного Ницше, высыпавшиеся из тургеневских книжек. Злые люди, которые поют песни. Мы – слепцы, стреляющие в свой собственный Восход и Закат. Мы дети слепого бога, который воскреснет для новых чертогов вместе с последним богом светового германства. Мы рады обману, поскольку он нам ни чем не грозит. В русской редакции карманных скрижалей записано пророчество рунической ведьмы. Железный Лес приветствует Немецкое Небо!

Мы знаем, что вам яд. Онтологические германофилы – это мы, посмертные дети Магды Геббельс, согласные с нею, что «Жизнь в Германии без Фюрера и национал-социализма не имеет смысла». И потому мы не любим немцев, которые не стреляют. Мы не любим немцев, которые не пишут стихов. Мы не любим немцев, которые подсчитывают холокосточки и евровалюту. Мы не любим немцев, которые не мечтают «отдать всё счастье западного человека, чтобы по-русски быть несчастными». Мы не любим немцев, которые читают Новалиса, если у них остается на это время. Мы не любим немцев, которые не заметили, как их Небо исчезло.

Как хочется провалиться в него, в это Небо, в котором слышится колокольный смех палачей, собирающих васильки после отработанной вечности. Вот Бытие!

*В вашем Небе молчание Хайдеггера и безумная музыка Ницше.
Прозрачное озарение Экхардта.
Директива Конца.
В вашем Небе Закат.
Закат над нашей Землёю.*

И.Ф. 2010-11-05



МАНИФЕСТ ПРАВОСЛАВНОГО ГЛАМУРА, ИЛИ «НЯ, ПРАВОСЛАВИЕ!».

Купированная версия для секулярно артикулированных читателей, полную и каноническую напишу соратники™ и сорадетели наши.

Взглянув бегло или пристально присмотревшись к так называемому профилю сообщества Нашего, многие поспешат позабыть о нём – тысячи их, пародирующих и «стебущихся», как если бы мы относились к имени их – Легиону.

Но мы утверждаем обратное: шутки прекращены. Мы не смеёмся и даже не насмехаемся над чем-либо; как и подобает совершенно безответственным существам – человекам, мы совершенно серьёзно оцениваем и исследуем данный феномен, – Гламур.

В отличие от многочисленных, тысячи их, именующих себя противниками, или несогласными, мы не намерены попусту орать, брызжа слюной, размахивать руками, задевая хрупкие антикварные стулья (от чего они ломаются), и прочую атрибуцию современной «музейной» культуры.

Да, гламур тоже подлежит «музеизации». В эсхатологических перспективах это – символика исчезающего на наших глазах мира, так проводим же без пяти минут покойного подобающе благочестиво. Ибо больше такого не будет. Хватайте гроб, пока не «убежал» последний катафалк.. Некоторые воскликнут: и вам этого жалко?!

- Нет, - отвечаем мы, - мы не о чём не жалеем. И о тех многих несчастных, кто воспринял помпезные похороны Гламура за кощунство, и тех, кто предался некрофилии, вообразивши, что пациент скорее жив, чем мёртв. Но если с должным вниманием и пониманием поинтересоваться этимологией и генеалогией Гламура, то станет очевидной кульминация агонии: полное растворение в окружающей действительности. И не той, что выхолощена, опорожнена и выскоблена экономией, но в действительности онтологически насыщенной.

Что есть Дом бытия и первичная онтология? Язык. Это ли не намёк нам, страждущим постичь Бытие и Время? Sic, английское слово *glamour* возникло в средневековых университетах как синоним (эвфемизм) для *grammar* - «грамматика», «книга», заимствованного из французского *grammaire*. Череда преемственности такова: грамматика ≈> замысловатая книга ≈> книга заклинаний, далее ≈> колдовство, заклинания ≈> чары, очарование; родство усматривается и также с французским эпитетом “*grimoire*”, гримуар - «книга заклинаний», того же происхождения. Подражательные фиксации слова «гламур» в русском языке впервые отмечены в конце 1990-х годов, но только в нулевых дефиниция стала общепринятой и повсеместно распространённой.



Таким образом, действительность, якобы созданная «гламуром», словно «кольцо враждебности», уже бьётся в конвульсиях: стоически безразлично переживший смерть Автора по Ролану Барту, Гламур не выдержал проверки на прочность смертью Дискурса. Когда о Нём или умалчивают, или выражаются нечестиво и непотребно, Он слишком долго ждал своего Спасителя, смёртью смёрть поправшего и продлившего бы его жизнь. Но тщетно: не дождался, - и, как всякий умерший, никогда не жил, - так полагают стервятники, лжецы и шарлатаны, тысячи их.

Мы, благодарные ценители зрелищ редких и плодов сочных, предпринимаем попытку воздать должное именованному покойнику – чтобы не сказать сильней. Да, наши суждения будут серьёзны, как полные собрания сочинений Георга Вильгельма Гегеля, Эдмунда Гуссерля и Жака Деррида вместе взятых и патетичнее годовой подшивки журналов “GQ” и, собственно, “Glamour” попеременно.

Отсюда происходит и провокационное заявление «Троллям – еда!». Очевидно, что в рамках интернета «дискурсивное поедание» друг друга, - внимания референтов и реципиентов, а также их нервных клеток, - давно уже стало рафинированной версией ритуального каннибализма. Да, мы несомненно желаем вам зла – провоцируйте, угнетайте, негодуйте. Мы примем все ваши реакции за ценный эмпирический материал, тщательно конспектируя и запоминая, без малейшего злорадства. С самого начала мы следим за Вами, Вы – наш персональный Паноптикон, мы дорожим каждым из Вас!

Что касается пресловутого цинизма и ressentiment, - оных здесь не будет, мы гарантируем это. Мы совершенно искренни в своих намерениях, более того, наши стремления далеки от деструктивной ревизии всех ценностей, - как описывали феномен ressentiment **Фридрих Ницше** и **Макс Шелер**. Мстительность, особенно, мстительность в отношении к собственному прошлому совершенно чужда Гламуру. Эта мстительность и неумолимое стремление ликвидировать воспоминание о славном, блистательном и чарующем прошлом присуща «всего-навсего» всей [пост]современной культуре, - последней мы адресуем свои проклятья и ненависть™.

Что касается самого Гламура, мы считаем должным помочь ему в укоренении в Традиции, и во всех направлениях как и Западной, так и Восточной высокой культуры, - ведь он единственно того заслуживает.

На этом извольте распрощаться, мы удаляемся сочинять ещё более чреватый коллективным психозом текст, и, да пребудет Царствие Его, во веки веков!

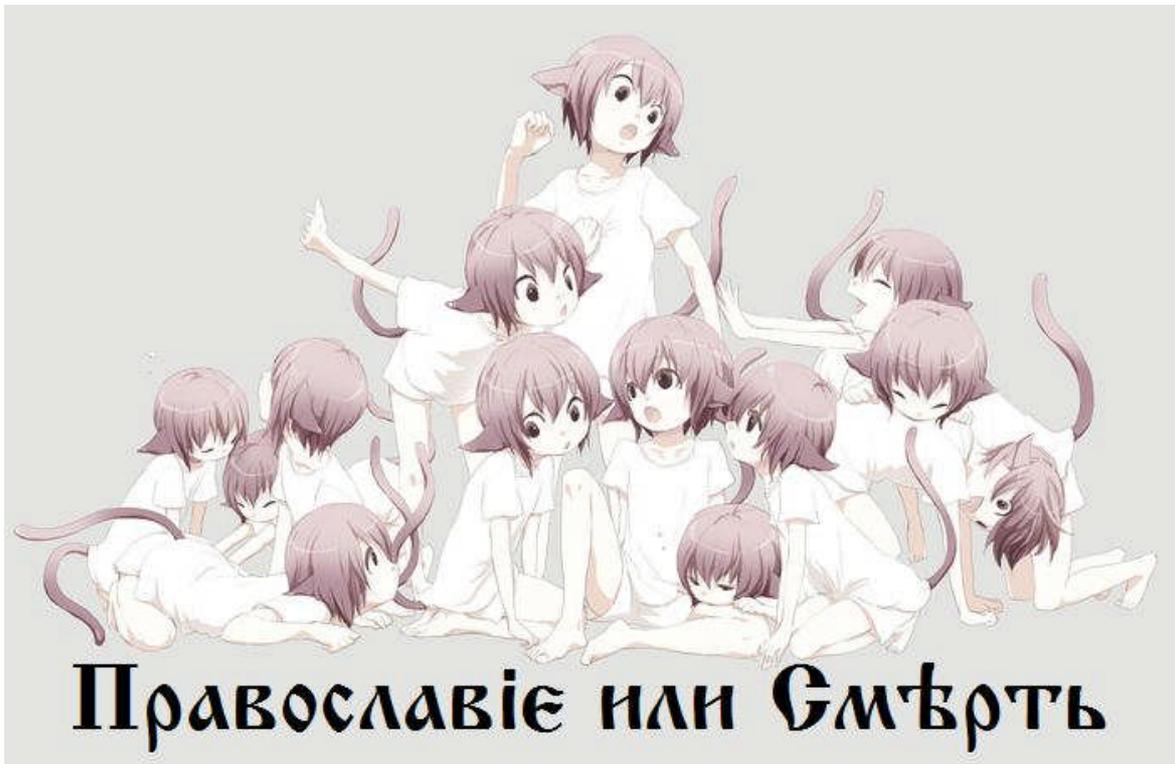
P.S. И не спрашивайте нас, когда будет раскрыта тема неопределённого артикля / междометия "Ня", - Времени больше не будет, и не стало уже Времени, стало быть - скоро, скоро... Вы и моргнуть не успеете

Добавление: Обращаясь к современности, мы видим спорадическое, но периодическое истечение смысла, вызванное прерыванием многочисленных тонких связей человека с его же генеалогией, историей и культурой. Очень многие, в силу характера бессознательного, внутренних деструктивных энергий или по иным мотивам усматривают в христианстве только разрыв, не существенно при этом, дают ли они разрыву позитивную, или негативную оценку. Существенно то, что в возникновении очередной дегенеративной проекции, «не по-хорошему забытого старого» эти люди спешат отгородиться самим, возмущённо и гордо отвернуться от новоявленного феномена, сочтя его, по меньшей мере, “неприятным”, в некоторых случаях даже опасным. Не то, чтобы в буквальном смысле - вредоносным, причиняющим ущерб, - попросту “довольно-таки неприятным”, не-чистым, стало быть, и нечестивым.

Тем не менее, обратите внимание на монструозное разнообразие чистящих средств, всяческих стерилизаторов и антибактериальных покрытий. Постмодерн вообще – культура чистюль-белоручек, пренебрегающих останками модерна в пыльных антресолях.

[...]

Гламур, как предельная градация западной эстетики, из века в век терявшая свою форму, – качественное содержание, согласно Аристотелю, а не внешнее, «наружное» - появился как условно автономный феномен (а в действительности – как инструмент, применяемый зачастую некомпетентно и во зло), европейцы наполнить содержанием не успели. Ныне он напоминает всеми забытого и изгнанного отовсюду Владимира Ивановича Сно, - как если бы Первоархонту стали больше не нужны «идиотские аватары». Особенно это экспрессивно проявилось в так называемом «русском гламуре» - экзистенциальный статус которого под сомнением; все его видели, но никто не может сказать, «что это было», все эти фальшивые перья колибри в головных уборах, россыпи страз в виде пентаграмм, и т.п. Пародией это назвать уже невозможно, - какое может быть утрированное сравнение и неуклюжее подражание тому, что в оригинале никогда не существовало.



СЫРНОСТРАТИКА. 氷の愚かさ ЭССЕ О САКРАЛЬНОЙ ГЛУПОСТИ

Моё число у глупцов - ⑨.
Кроули.

Изначально “Сырно” была безымянной, - заурядной ледяной феей. То, что в европейских языках классифицируется “феями”, на почти что родном Сырне диалекте пишется / звучит (катафатически или апофатически) или как 仙女 / せんじょ - сэндзё, или 仙女 / せんじょ - сэннё, или 妖精 / ようせい - ё~сэи Раса антропоморфных, наиболее близких образу и подобию божеств не нуждалась в *номинальной* артикуляции, как и большинство ёкаев, иными словами – чудовищ. Занимались они, - и чудища зело облы, стозёвны и лайя, и тщедушные, ранимые феечки, идентичными защитой и нападением – они оберегали, как умели по-своему, собственные ареалы обитания, подобно тому, как пчёлы обороняют свои ульи, а осы – гнёзда. Но это нисколько не удержало статуарное разграничение мира от осыпи, - священные пограничные столпы рухнули, словно подточенные ветрами и дождями за тысячелетия скалы. В силу нескольких грандиозных событий, - в том числе вторжения в Генсокё божеств из других миров и затяжную войну с селенитами (sic! – с обитателями Луны), возникла изрядная путаница в иерархии и конгломерате функционалов. Демоны, ёкаи, духи стихий и даже боги стали спускаться с горних высот и подниматься из вечной дрёмы в тенистых беспросветных чашах к селениям людей, как к себе домой или в гости к ближайшим соседям.

Некоторые из Благородных Существ в этом преуспели, позабыв дорогу обратно, туда, где примордиальный Хаос граничит с перевозданным Космосом. И остались в Генсокё на правах легальных эмигрантов или задержавшихся постояльцев, никому и ничему не вредя, полюбившимися местным вопреки буйному нраву и норову разрушения. Для удобства обращения к ним уроженцы Генсокё стали давать им имена. Так человеческими языками были наречены *они* – Суика Ибуки, *кицунэ* Ран Якумо, *тэнгу* Инубасири Момидзи и *каппа* Нитори. То были подражательные имена, - люди компоновали характерные для Благородных Существ слога, невольно искажая, - потому что на несовершенный человеческий слух глас бытийствующих звучит бессвязным лепетом, гомоном, гвалтом.

Некоторые имена удалось распознать и перевести в умопостижимых выражениях. Например, имя Дайёсей [大妖精 / だいようせい] - владычицы мелких озёр, речек и ручьёв, можно прочесть как “кажущаяся заменимой истина”, - нелепость словосочетания вполне соответствовала природе, кажущейся противоестественной, феи. Почему соответствовала? Потому что Дайёсей никто, кроме нескольких потомственных полулюдей, - представителей ныне реликтового вида, а также



жрец и колдуний не видел, не ведал; большая часть жителей Генсокё настолько привыкли к соседству и даже к сожительству с ёкаями и *юриэями* [призраками], что знавали их как обыкновенных «граждан», не замечая рогов Суики, хвоста Инубасири, а черепаший панцирь, благо что пугливой, Нитори издали принимая за крупный походный рюкзак. Традиционному профану, - а таковых в Генсокё было не меньше, чем повсеместно, совершенно безразлично, как и по какому поводу обратиться к фее, что вполне оправдано. *Дело ли* человеку, - смертному и стеснённому телом, усматривать в каждом плеске воды сонного озера, недолго тянущего до превращения в болото, чью дрёму в футоне тины нарушает только по вечер квакание лягушек да уханье выпы.

Так вот, возвращался однажды с попойки некто Дзунья Ота, чьё прозвище в записи катаканой говорило само за себя, похожее на две ухмылки – ヌツ. Одну – Козо [циклопа / 僧] и человечью рожицу. На лесной тропе он сподкнулся о довольно большой кусок льда, неведомо как взявшийся в июле, да ещё и поблизости места, не охлаждённого тенью. Упав навзничь, Zun, как и полагается пьяному вдребезги, тут же почувствовал себя беспомощным и уязвимым, как младенец. Курящие в подобных ситуациях немедленно тянутся к карманам, и конвульсивно шарят по ним в поисках сигаретам, не зависимый от никотина Дзунья же принялся рисовать пальцем на песке, запятнанном тенью и увлажнённом тающим на зное льдом иероглиф “の”. Суффикс генетива следует изображать всякий раз, когда ощущаешь волшебное, столь редкое для стремительно взрослеющего, а позже так же поспешно стареющего человека, состояние ребёнка, например, расцарапавшего колени о гальку, и теперь решающего, жаловать ли кому-нибудь, или просто разрыдаться в неприкаянном одиночестве.

Мы тут, конечно, все прожжённые царской водкой и македонской кадаркой циники, но всё же, желаем, чтобы каждое смертное существо пережило хотя бы единожды в жизни подобную дилемму, как заброшенность в травматическое бытие, а не заброшенность бытием. Если пережил, да ещё и остался в здравом уме, а не патологически разумным, значит, у этого существа было рождение и было детство, оно. Существо, способно жить и умереть, а не просто существовать в качестве репродуцируемого аппарата для обеспечения и заботы о самом себе, словом, в форме трупа прямоходящего.

Не спрашивайте нас, сколько сакэ в то сравнительно недалёкое время выпил Дзунья, нам то безразлично. Заметим мы лишь то, что даже слегка трезвым ヌツ писал и катаканой и хираганой так, как пишут иные пьяными в грязь [буквальное выражение “でいすいしや”]. Посему вышеупомянутый генеалогический иероглиф у него получился даже слишком схожим с арабской цифирью, вписанной в круг - ⑨. Дзунья, к слову о рисовании помянем, был немного художником, и потому после двадцать седьмой попытки заметил, что невольная бессознательная импровизация порождает весьма любопытный иерограммический концепт, - девятичную глупость. Трижды девять – двадцать семь, не так ли? Надо быть владельцем обоюдоострого ума, ни рожна не работающего, чтобы синхронически пробовать найти в этих троекратных триадах некий потайной смысл, оставаясь в полярно обратной тому уверенности, что любые экзегетические изыскания бессмысленны и бесполезны в корне. Квадратном. Из девяти.

Отсюда нами выясняется, почему замесившие “の” девятки были подписаны ZUN’ом незамысловатым ребяческим ругательством 馬鹿 / ばか. Как известно, в родном Дзунье Ота языке нет дифференциации рода, “бака” вне контекста может означать «дуру набитую», и нулевою в быту «девку»; и нулевой аркан, и придворного шута. Типичную гомоэротическую профессию, кстати, - во всех традиционных культурах «карлицы», актрисы комедийных спектаклей и пантомим довольствовались второстепенной ролью или вообще никакой; в традиционной азиатской драме все роли

без исключений исполнялись мужчинами. Почему? – спросите вы, и мы вам ответим: да оттого, что более восприимчивые и понятливые азиаты сразу смекнули, - для женщины любой спектакль никакая не игра, они и так самодостаточны в двуличной природе актрис, не нуждаясь в подмостках. Только мужчина, да – включительно «неотесанного мужлана», способен на сценическую речь, жестикуляцию и действие, как искусство, а не комплекс обыденности, перенесённый в умозрительные, по большому счёту, условия (минимализм азиатского театра в области бутафории).

Следующий интеллигибельный шажок, - Дзунье удалось с тридевятой попытки встать на то, что опровергает право назваться ногами. Тогда он обернулся, и увидел, что за время его принудительного немощью лежания льдышка растаяла, и влага от неё впитана неблагодарной, потому что затоптанной, почвой. На месте льда лежал, раскинув лапки и оттопырив белёсое брюшко, лягушачий трупик. ンツ сразу вспомнил народное поверье, распространившееся до общеизвестного после конфликта жреческих кланов Хакурей и Кочие, о некой фее [сэннэ], чьей регулярной игрой стало замораживание жаб и лягушек. Сэндзэ, если Дзунье не изменила ни с кем память, не жаловала богиня Мория Сувако, персонификация [Гамы-сеннин](#) (? – мифологические энциклопедии молчат на вопрошании о божестве-жабе или лягушачьей богине) и Санаэ из клана Кочия, служащей Сувако.

Поскребя по сусекам хмельной памяти Дзуньи, находим, что сэндзэ некогда прозвали Чируно. Лингвистически отчаянными~откровенными будучи, найдём, что сочетание チルノ или ちるの, *по существу* – ничего не означает. Значением наделён только первый слог, а именно, если воспользоваться хираганой, - “ち”, это и 道 - дорога, путь; это и 地 - земля, это и 血 – кровь. Сплошь ключевые слова преמודерна, традиции и архаики; в данном случае любой – любого может забросать ссылками в диапазоне от Егория Простоспичкина, Князя Мира, до Карла Шмитта, светоча геополитики. И ко всему дополним – слог катаканы “チ” можем перевести как 地 - местечко, область, локализованный топос, или 智 - мудрость, замысле, эннойя; или 痴 - слабоумие, дурость, сумасшествие. Стало быть, неизбежны аллюзии к исследованию пограничной специфики неразумия и ума, от Чезаре Ломброзо до Мишеля Фуко[лта]. В отворившейся перспективе существенно для нашего любопытства то, что Дзунья завершил свою миниатюрную работу записью косной латиницей. В парадигмальном аспекте «там, где Сырно» находится периферия между структурной областью без очевидных границ, и логоцентрической конструкцией дома бытия, требующего строго унифицированной архитектоники. То же касается и русскоязыческого паронима (впрочем, считающегося в некоторых случаях гипонимом) “Сырно”, образованного оморфемой «сыр». Пустившие в расход touhou-сообществам и тематическим разделам имиджборд «авторы» номинадверба [от лат. *nominadverbium*, именованное, имя нарицательное] руководствовались даже не интуицией, и конечно же не языковыми играми Сервантеса:

[атрибутом шутовской глупости, "свихнутости" был также и сыр \(исп.: queso\), о котором напоминают и один из вариантов фамилии героя - Кесада, и эпизод с "тазовым племом".](#)

Кристаллизуем итоги: Сырно – одна из немногочисленных мифологем «космоса Генсокё», являющая собой неадаптированную и не подверженную ассимиляции по природе архаику. В Генсокё каждой из сил, сущностей и существ определён функционал. Напр., Румия, ещё более «безмозглая», чем игривая неуёмно и неуместно зачастую Сырно, - ёкай-каннибал, одной, по-видимому, единственной своей внятной репликой[*] в мета-исторических кодексах, постановляет: *работа (nota bene, 仕 [си-дзи] – служба, работа) ёкаев состоит в том, чтобы нападать на людей.* Тем самым подлатывая бреши в мироздании, позволяющие смертным шастать куда не велено.

Чируно, прозванная Сырно, в данном отношении существо, не отягощённое дестинацией телеологического – целесообразного, порядка; тем самым, для архаика, дезориентированного некой новой экономией сущего она суть идеальный актор прәдестинации. То есть встреченный не потому, что парабола Логоса вытолкнула, или зуд профанного богопознания непреходящ, – просто потому, что *мы здесь живём*. И в самом деле – она была единственной, кто воспринял «цветочный бунт» 14 августа 2005 года по человеческому летоисчислению как должное: “праздник, случающийся раз в шестьдесят лет!”. Какое ей дело до того, что в процессе торжества подсолнухов Генсокё оказался завален трупами, – для Чируно это не более, чем изысканный ландшафт для безыскусных игр.

И пока некоторые подлинные дурни и дурёхи ищут себе наказания, наивно полагая, что таковое может искупить их рождение на земле, ⑨ продолжает крошить лёд с фрагментами тушек земноводных, никуда не спеша, ничего не дожидаясь, ибо мир со всеми сущими и вещающими о себе вещами поспешает мимо-вокруг неё.

[*] - そーなのかー [So-nanoka~] не в счёт, это паразитарное междометие сродни «Да ну!», подхваченное, вероятно, у нескольких жертв, напрасно не поверивших глазам своим.

О продуцирующем и про-из-водном Сырны. Аппетитная приходит во время еды: можем добавить к очерку о Сырне милый иконографический аспект. У неё – шесть крыл, точнее, шесть сосулук, символизирующих собой крылья. В некоторых гетеродоксальных источниках насчитываем четыре. Итого – Азраил, по некоторым данным, четырёхкрылый, ангел смерти, возвращающий Аллаху души, вброшенные им в тварный мир. Или – Серафим, диктовавший некогда Откровение и грозивший человечеству, исключая 144 тысячи, истреблением. Ко всему – гетеродоксы от фэндома привнесли в иконографический раздел слепящий образ пылкой Achi-Cirno, физической, а не психической инверсии старшей сестры. У неё и в самом деле всё согласуется со словами Дионисия Ареопагита: “ясно показывает непрестанное и всегдашнее их стремление к Божественному, их горячность и быстроту, их пылкую, постоянную, неослабную и неуклонную стремительность, – также их способность действительно возводить низших в горние, возбуждать и воспламенять их к подобному жару; равно как означает способность, опаляя и сожигая, таким образом очищать их, – всегда открытую, неугасимую, постоянно одинаковую, светообразную и просвещающую силу их, прогоняющую и уничтожающую всякое омрачение”.

Взаимоотношения фей варьируются от инцеста с курьёзными последствиями (Чируно тает от ласк пламекрылой сестры) до круговой обороны от естественных врагов, сродни бесчинствующим на природе мико (считающимися, что раз они служат Высшим, им уже всё можно), но никогда не становится открытой враждой. Кто из них смертоноснее, в том числе – для рода своего?

И основополагающее, существенное препятствие в намечающейся [интелли]гибельной перспективе: значимость феномена смерти. Не только для традиционного профана, но и для индивида-архаика во всём всеемстве и вездесущести его, смерть – не катастрофа, не самая крупная неприятность, да и вообще *не-событие*, иными словами, не то, что влечёт за собой некую ревизию, и перемену мест слагаемых мироздания. А ведь сакральное и секулярное, *яснее* выразившись, – фундаментальные полюса Тайного~Скрытого и Явного~Разоблачённого (или вывернутого, для наглядности, наизнанку) – итоги нескольких событий, так или иначе, эпицентром своим имеющих первопричину. Катастрофичность ситуации не была проявлена, очевидна до того, как мы, – подразумевая всех, кем применяется парадигмальная оптика, – признаем эту деградационную событийность. Деградационную не в последнюю очередь потому, что индивид уже «наладился» чертить границы, – ограничивая, классифицировать; кое-где,

как бы нечаянно находя обескураживающую пустоту или головокружительную насыщенность. Событие его не подводит там, где восприятие просто отказывается срабатывать, ввергая сознание в цепкие щупальца самородных чудовищ. По-рожденных, а не рождаемых разумом, отдельным умом.

Приведу очень тривиальный, научно-популярный пример, вычитанный в глубокой юности не припомню у кого, и, если память мне верна, пересказанный Розановым Василь Василичем: римские легионеры, вломившиеся в тайную тайных иудейского храма, были травматически удивлены его пустотой. Когда я впервые прочёл об это, представил себе это событие, - не только для евреев, - будто присутствовал там сам. Имперской гвардии известны и убранства храмов в Сирии и Персии, унаследовавших страсть к архитектурным излишествам от древней Месопотамии, - «сорт» экзотики, позволяющий воскликнуть даже невежде – наши зодчие могут не хуже. Но какой изошрённостью должен обладать ум[*], чтобы воздвигнуть эту ужасающую пустоту!

Подобное восклицание вменяется в невинность «оккупантам» потому что представителю традиции с предельной эстетической *художественной конкретикой* в пустоте может померещиться всё, что угодно. «Стоит помыслить – как всё уже делается». Самые кошмарные и сладостные грёзы рождаются в пустоте, да не в обиде: вот он, Πάτμος, не блестящий разнообразием и пестротой ландшафта угрюмый скалистый островок. Там апостол Иоанн “...увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.” [XVII. 3-5].

А что мог представить себе наёмник с очень средним образованием для своего времени и даже изрядно образованный центурион? “Вступив туда, мы почувствовали, будто давно уже умерли. Когда мы вышли оттуда, нам показалось, что мы вернулись из Аида”. Красочные, виртуозно сконструированные и описанные ландшафты дантова Ада по сравнению с этим ужасом – «парк развлечений»; в смысле – когда нам предоставляют удовольствие *всего лишь наблюдать*. Не обязательно «страдать» садистическим психозом, чтобы сперва ужасаться, затем увлечься и находить в эйдетически замысловатых истязаниях удовольствие.

В случае с авраамитским культом такой наивный манёвр не проходит, - раз уж заговорили недавно о сыре, рисуем такую метафору – нам предлагают смотреть, рассматривать не дырки в сыре, а дырку без сыра. И слегка ехидно приговаривая, - «ну как, сытно?». Можно возразить, что это какой-то буддистский финт казуистики, буддисты они такие, мастаки манипулировать безвоздушными резервуарами, как молокопродуктами в упаковке. Но почему тогда нас слегка пугает безыскусная, небезобидная простота, без пяти минут выноса мебели – пустота, синтоистских святилищ; по сравнению с помпезными буддистскими пагодами и павильонами?

А всё потому, что подлинный Путь Богов [神道 – синто] пролегает в *правильном* месте и времени, в подходящем «сквозном отверстии» (сквозным – потому что ведущим в посмертие или сразу к перерождению) окружении. То есть «сырном». Сырно не есть тайное, обратно тому, оно даже броское, более заметное, чем намеренно отворяемое, раскрытое по наущению или невежеству тайное; иное дело, что даже традиционный профан очень скоро наущается или делает вид, что прилагает усилия, про-являет волю к постижению тайного. Просто ему уже внушили, что наиболее *плодотворное* впечатление он может получить при внимательном исследовании отверстий и пустот. С эротическими коннотациями, - о коитусе и зачатии, и так всё понятно; вообще, довольно

распространены сомнения в том, что Сырно, как и любая сэннэ / ё~сэи может что / кого-либо зачать, она - вечная дочь. Рождаемая холодом или прохладой, и остающаяся при родительнице, не наделённой ничьей фантазией *образом*.

К слову о материнстве: в дальневосточной мифологии известна фигура Юки-онны (雪女, снежной женщины), суть персонификации зимы, периода между смертью и [пере]рождением. В отличие от западных мифологических схем, с диктатом календарного цикла, в космологии Генсокё «государыня зима» не более чем «сезонный ёкай». Такова Летти Вайтрок (レティ・ホワイトロック - ещё одно из ономатококических извращений ZUN'a) – изредка встречаемая в окрестностях человеческих поселений, с известной и “чудищу” и “человеку” (впрочем, это одно и то же, второе, правда, многим хуже) целью. Что и означает: отследить родословную от Субъекта, - в общем, а не суженном антропологическом смысле, Чируно и Рюэtti (?) не представляется возможным. В оптике современного [ин]дивидиа такие могут быть и креатурами низших слоёв ледников в горах, и порождением обмороженной головы, в которой незадолго до прекращения токов нейронов шевельнулось воспоминание о матери.

Взяв чуть глубже, в началах и стихиях, остаётся с некоторым смущением заметить, что способны воспринимать, ощущать и мыслить лишь о тех же пробелах, разломах, щелях и безднах. С любой плотностью, непроницаемостью всё достаточно... прозрачно, они ясны и не требуют каких-либо экстраординарных помыслов. Мысль о них слишком легко вкрадывается, вкатывается, чтобы быть интересной.



Архаик привык жить во всём готовым к претворению, - вспомним легендарных Илью Муромца и Емелю. Первый сидел тридцать три года, второй всю недолгую жизнь пролежал на печи. Смешно даже предполагать, о чём они думали, что их тревожило, - для этого нужна, по крайней мере, крохотная лазейка в непрерывном чередовании монолитной яви и безмятежной дрёмы; игольное ушко, - куда может проникнуть сама мысль о некой неполноте, недостаточности. Элементарный алгоритм, приводящий, как ни печально, к юнгианскому тезису «сознание есть комплекс». Комплекс – комплект, нечто собранное, сборное, между блоками-частями, фрагментами, зазоры не должны быть слишком велики, но и не малы – в сознании современного типа, как в сталинском госаппарате, незаменимых частей нет. Комплекс – компактен, отсюда его синонимичность со «стеснённостью», «зажатостью» и необходимость удобной и прочной «упаковки».

К чему это как будто некстати? К тому, что Сырно, как и любой архаический молокопродукт (рождённая, а не по-рождённая), - *брешь* между двумя режимами бессознательного, диурном и ноктурном. Периодически вытесняя и подавляя фрагментарно друг друга, Д. и Н. образуют вполне комфортные, оперативно работающие комплексы, - унификации и ёмкости. Тем не менее, и диурн, и ноктурн «привыкли» работать с уже состоявшимся, состоятельным со-знанием, - с тем, что уже столкнулось в пустотами и, более того, с Пустотой, и по мере способностей своих начинило их продуцируемыми Д. и Н. концептами, фантазмами, конструктами.

И диурн, и ноктюрн ничего не могут поделаться с непобедимым первобытным кренинизмом ⑨, судя по всему, не замечающей не то, что чужую, свою собственную недостаточность, - пренебрежение ситуаций и событийностью. Под вопросом только одно – с какой стати столь насыщенной, плотной персонификации непреходящей глупости быть *самотождественной* дырой, каким было вместилище, равновеликое Самому, Космократору, бога ревнивого, постулировавшего, что кроме него нет ничего. Совсем-совсем ничего.

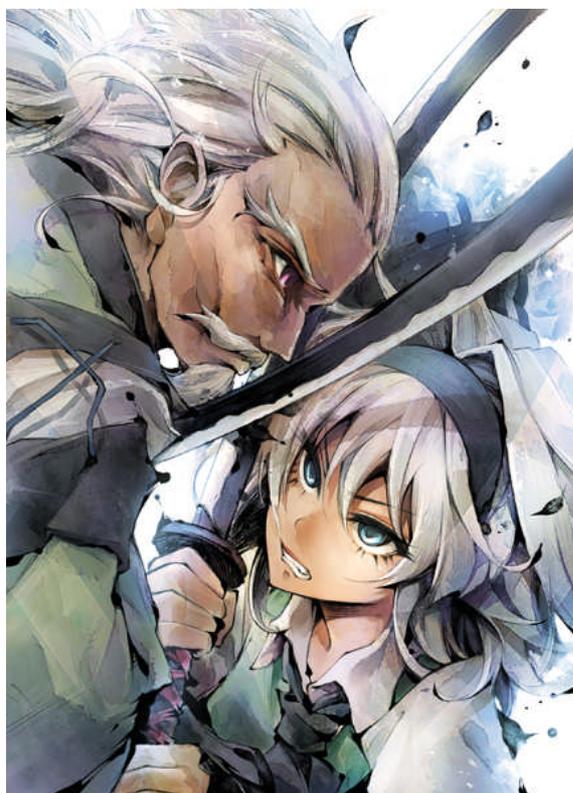
[*] ...А значительно позже слышались краешком уха побасенки староверов, будто в капищах их режут младенцев огнепоклонников и сатурниан (не последователей Сатурнина Антиохийского, известного со 125 года от Рождества; заурядных верующих граждан Империи).

⑨. ⑨. 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ: 縁切り. КРАТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ ОПЫТЕ РАЗРЫВА.

Сырны с неудовольствием заметили, что реконфигуративные прерывания, и переживания на их основаниях, разнообразная «порывистость», прыжки и ужимки парадигмального характера, считаются не без самодовольства исполняемыми их чем-то вроде личной заслуги, в особо запущенных деградиционных случаях – заслугой этноса, рода, вплоть до пола. Между тем, гордость своей оторванностью напоминает бахвальство ученика, которого выпороли так, что он сидеть не может, и оттого такой «стойкий» в буквальном смысле. В виду того, что сама дефиниция О.Р. появляется, и начинает спорадически фигурировать в сочинениях традиционалистов сравнительно поздно, сырны не могут не заподозрить в ней очередную нехитрую инсинуацию архонтов.

Достаточно перечитать внимательнее сочинения Мирча Элиаде, особенно, о дистрибутивной мифологии и эсхатологии, общей для многих архаиков [[вот краткая статья](#), чтобы не перемалывать ПСС в переводах], чтобы убедиться



– для традиции комплементарная модель повсеместно замещалась когерентной. Иначе говоря, - интервенция креационизма воспринималась как желанное наступление [поползновение] Конца Вре́мён, за которым в ближайшей перспективе отворятся Врата во Второй Золотой Век (Рай – это не «где», это – «когда»), цикл наконец-то замкнётся и Древо Жизни вновь заплодоносит. Ассимиляции не могла подвергнуться только пенитенциарная модальность, - принудительная и репрессивная; подразумевающая, что манифестационист по праву рождения должен [!] обладать той же натуженно~надрывной психической конституцией, что и креационист. Назойливое напоминание «должок!» и «сколько ты оплатил [душой, а не валютой] в свои годы?» совершенно непонятны манифестационистам, для которых экономических взаимоотношений с богами, демонами и духами не существует – последние у человека, твари не дрожащей даже при условии полного бесправия, надо будет – сами возьмут.

К опыту разрыва это имеет вполне прямое отношение: подобно тому, как кенозис становится желанным по мере щедрых посулов и прочтении экзальтированных отзывов о процедуре самоотречения, предвкушение и ощущение абсолютизированного конца мира становится отнюдь не пугающим и даже приятным. При этом, драматизм и надрывность никуда не деваются, они просто трансформируются в художественного характера унификацию. Они становятся банальными, - аналогично регулярной выплате кредита.

И вот, опыт разрыва происходит, когда добросовестный моральный плательщик вдруг узнаёт, что есть некие существа, которые смеют мало того, что не платить, ещё и кредит не брать. Минуя аффективную зависть, cogito и компоненты коллективного бессознательного тут же проводят границу безо всяких демаркационных линий и нейтральных зон: тут – мы, там – они, наострим же уши, протрём глазки, чтоб не было ни с нашей, ни с той стороны перебежчиков. И не существенным станет, на чьей стороне окажутся сомнительное «мы» и пресловутое «они», - в настоящее время в России «монолитных» креационистов и «последовательных» манифестационистов почти не случается. Если манифестационистский [герметический] трактат, - непременно чтобы с гиперссылками на creatio ex nihilo; если креационистский памфлет – с умозрительными «лесами» манифестации, прикрывающими прорехи и щели в общей конструкции. Поэтому писания отцов Восточной Церкви достаточно транзитивны для перевода на «языческие диалекты», а пасквили~катехизисы лютеран – нет.

В последних строках слово «перевод» - встречается не случайно: холистский ансамбль, в котором сегменты цикла подогнаны, как блоки в египетских пирамидах, - игла в щель не войдёт, - один на всех, но репрезентуется различными вербальными средствами. Как только мы применяем катафатические методы, приходится невольно и частично отвергать апофатику; слово «является» может быть как и экзистенциальной модальностью, подлежащим (я являюсь евразийской сырной) так и формальным сказуемым (сырна является народам, и все народы поклонились ей). В первом случае мы «узнаём» апофатический предикат – «кто такая сырна?», «что значит евразийская?», во втором нам сообщают, что произошло явление народам со всеми вытекающими. В силу этого условия становится невозможным переводить сакральные тексты, - переводы просто сакрализуются, исходя из «склонения» к апофатике или катафатике. Порывание К-та с М-ом и наоборот всецело зависит от подобных ситуативных акциденций.

Как ни странно, хозяйственной женщине эти взаимоотношения между архонтикой и архаикой будут гораздо ближе и понятнее, чем «рвущемся из всех сухожилий» мужчине, - достаточно формулировать проблему Опыта Разрыва таким образом: женщине достаточно для беспокойства повода, что, напр., дети пойдут «как можно дальше от семьи», сыновья – в армию / институт, дочери – опять-таки в институт / замуж. И независимо от поведенческого модуса матери, - от деспотического до деликатно-осторожного (как бы не избаловать, и не репрессировать, μεσότης воспитания) и есть все основания полагать, что этот микро-разрыв суть часть одного фундаментального, неизбежного и окончательного разрыва.

Ну, а мужчина по темпоральной инерции будет восклицать: - Наконец-то, дети! Наконец-то – в школу! Наконец-то – на работу (в отпуск)! Наконец-то – в крематорий! Наконец-то, наконец-то... Тотальность разрыва амбивалентно незаметна и за последовательностью вялых переживаний, и за торопливо-бойкими конвульсиями. И обратно тому - чем большее значение придадут какому-либо одному из них, напр., мужской прерогативе

инициации, тем очевиднее влияние самого разрыва на психику и субтильное тело [душу] существа.

Так-то.



ОПРОКИНУТАЯ ВЕЧНОСТЬ. IN©ITATUS II